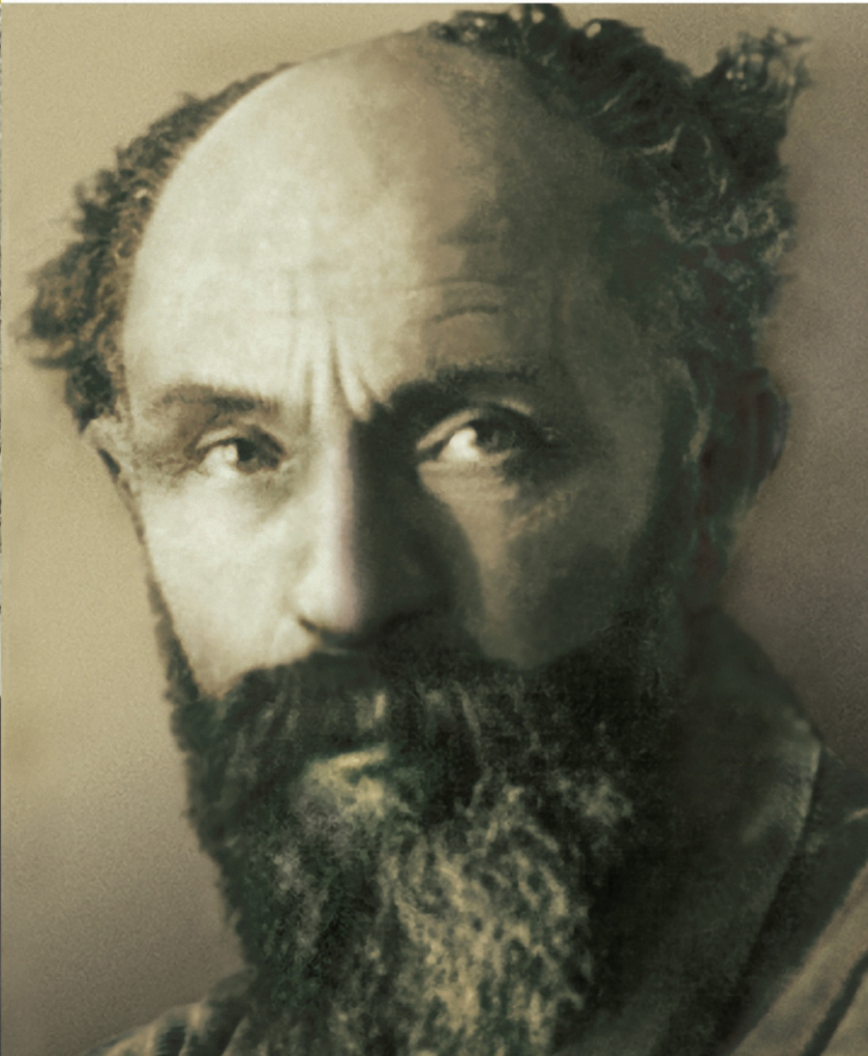


ПРИШВИН



Алексей
Варламов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия)

Алексей Варламов

Пришвин

«ВЕБКНИГА»

2021

Варламов А. Н.

Пришвин / А. Н. Варламов — «ВЕБКНИГА», 2021 — (Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия))

ISBN 978-5-235-04607-8

Жизнь Михаила Пришвина (1873–1954), нерадивого и дерзкого ученика, изгнанного из елецкой гимназии по докладу его учителя В. В. Розанова, неуверенного в себе юноши, марксиста, угодившего в тюрьму за революционные взгляды, студента Лейпцигского университета, писателя-натуралиста и исследователя сектантства, заслужившего снисходительное внимание З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и А. А. Блока, деревенского жителя, сказавшего немало горьких слов о русской деревне и мужиках, наконец, обласканного властями орденоносца, столь же интересна и многокрасочна, сколь глубоки и многозначны его мысли о ней. Писатель посвятил свою жизнь поискам счастья, он и книги свои писал о счастье – и жизнь его не обманула. Это первая подробная биография Пришвина, написанная писателем и литературоведом Алексеем Варламовым. Автор показывает своего героя во всей сложности его характера и судьбы, снимая хрестоматийный глянец с удивительной жизни одного из крупнейших русских мыслителей XX века.

ISBN 978-5-235-04607-8

© Варламов А. Н., 2021

© ВЕБКНИГА, 2021

Содержание

Вступление к теме	6
Часть первая. Гений жизни	9
Глава I. Детство	9
Глава II. Отрочество	16
Глава III. Юность	26
Глава IV. Пришвинские университеты	38
Глава V. Первая любовь	46
Глава VI. Дух и плоть	55
Глава VII. Первая книга	65
Глава VIII. Религиозно-философское общество	73
Глава IX. Конец света	85
Глава X. Слепая Голгофа	93
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Алексей Варламов

Пришвин

© Варламов А. Н., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

* * *

Вступление к теме

У этой книги несколько героев. Самый главный – конечно, тот, чье имя вынесено на переплет. Но человек этот обладал такими удивительными свойствами, так хорошо знал природу вещей, людей, деревьев, птиц и зверей, так умел прятаться и маскироваться, что голыми руками его не взять. И я, принимаясь за книгу, не знал, чем она окончится и куда заведет меня мой загадочный персонаж, сумею ли понять его и проникнуть в его тайну.

Казалось бы, чего проще – перед нами восемь томов его сочинений, и среди них добрая половина автобиографических, несколько книг его жены Валерии Дмитриевны и книга воспоминаний о нем. Наконец, перед нами четыре изданных тома его дневников, охватывающих период с 1914 по 1925 год (всего этих томов должно быть двадцать пять!). Писали о нем многие замечательные русские и советские поэты и прозаики (хотя, как увидим дальше, писали весьма противоречиво), высоко ценили критики, литературоведы и литературные начальники.

С легкой руки некоторых из них в нашем сознании долгое время существовала легенда о Пришвине как тайновидце, волхве и знатоке природы. Однако сам Пришвин признавался, что пейзажей не любит и писать их стыдится. И пишет вообще о другом. А место свое в литературе определил так: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все...»¹

Сказано это было в 1937 году, что в комментариях не нуждается. И так возникает еще один сюжет и еще один герой – Василий Васильевич Розанов, образ которого тянется через долгие годы пришвинской жизни. Культура развивается в диалоге, и Пришвин, хотя и стоял особняком в литературе (даже дачи в Переделкине у него не было, не участвовал он в писательских комиссиях, разве что в Малеевке бывал иногда), не исключение, а скорее подтверждение этого правила. Писатель, которого с легкой руки законодательницы высокой литературной моды начала века Зинаиды Николаевны Гиппиус часто упрекали в *без-человечности*, болезненной самолюбии и самолюбовании, был насквозь диалогичен, и только через диалоги и полемику может быть оценен и понят. Поэтому писать о Пришвине – это писать об эпохе, в которой он жил, и о людях, с которыми он спорил, у кого учился, кого любил и кого недолюбливал. Это верно по отношению к биографии любого писателя, но к Пришвину приложимо вдвойне, потому что не одну, а несколько эпох прожил этот человек, родившийся в семидесятые годы XIX века и умерший в пятидесятые XX, много чему был свидетелем и испытателем и все, что видел, кропотливо заносил в свой великий Дневник – главное и до сих пор не прочитанное произведение, бережно сохраненное для нас его женой Валерией Дмитриевной.

Традиционно принято считать, и эта точка зрения находит отражение во многих исследованиях, что творческий путь Пришвина – это путь от модернизма к реализму. Или так: от реализма к модернизму и опять к реализму. Но что-то здесь не сходится. Ни «Осударева дорога», ни «Корабельная чаша» не укладываются в рамки реализма, как бы широко и благожелательно мы это понятие ни толковали.

Пришвин, и в этом едва ли не главная его особенность, осознавая свою органическую связь со старой дореволюционной русской традицией («Старый писатель, как превосходный старый трамвай, но гордиться тут нечем советскому человеку – сделан при царском правительстве»²), полагал неслучайным условием таланта, сущностью его – чувство современности и уподоблял это чувство способности перелетных птиц ориентироваться в пространстве. В 1940

¹ Пришвин о Розанове // Контекст-1990. М., 1990. С. 196.

² Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. 1923–1925. М., 1999. С. 309.

году он сказал: «Писатель должен обладать чувством времени. Когда он лишается этого чувства – он лишается всего, как продырявленный аэростат»³.

Тем более удивительно, что в 1943 году в деревеньке Усолье под Переславлем-Залесским он записал в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей...»

Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельнее и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов»⁴.

Появление Бунина на страницах пришвинского Дневника и закономерно, и неизбежно, и поразительно. Поразительно тем, что, в отличие от устремленного к современности Пришвина, Бунин до конца дней любил Россию древнюю, и чем древнее, тем она ему была дороже, и не переносил России новой, советской, которую пытался не только понять, но и принять Пришвин и которой служил если не он сам, то его любимые герои. А неизбежно имя Бунина в контексте пришвинского творчества потому, что здесь столкнулись не просто две крупные личности, два мировоззрения или даже два класса, но два русских времени: прошедшее и будущее.

Оба они принадлежали к одному поколению, были земляками и прожили долгие, хронологически совпадающие жизни; в судьбах этих писателей есть странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внутренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости, и едва ли не первая и главная из них – бедность и неровные, изломанные отроческие годы, из которых трудно было выбиться в люди. Есть удивительные точки сближения в их дальнейшем творческом пути, поразителен их глубочайший диалог о России, русской революции, народе, вере в Бога, который заочно, сами того не ведая, вели они и в своих дневниках, и в художественной прозе.

С помощью Бунина, как мне кажется, Пришвина легче понять. Михаил Михайлович был человек таинственный и непростой, мало перед кем раскрывался, если не считать Дневника, – но ведь даже дневник, каким бы искренним он ни был, освещает лишь часть человеческого «я» и под вполне определенным углом зрения, многие вещи затеняя и пряча.

Бунин – величина абсолютная как солнце, Бунин – резкий свет, Пришвин – кладовая полдневного светила, переход от тьмы к свету и от света к тьме, и как тень невозможна без света, так таинственное царство подземных корней невозможно без солнца... Но не только в этом дело.

«Есть люди такие, как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их самих так знаешь, как они установились в себе, что не особенно и важно узнать, живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее», – писал он ровно за год без трех дней до смерти Бунина⁵.

Был у Пришвина и злой его гений, противник. Тоже замечательный писатель – тезка Тургенева и Шмелева, Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это именно он обронил о Пришвине, которого долгие годы хорошо знал: «Пришвин (...) на своем эгоизме, со своей эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и «своим книгам», питаюсь, впрочем, «соками», (...) был красив, но вряд ли храбр... как городской барин и интеллигент»⁶. Про внутреннюю связь Бунина и Пришвина он высказался так: «И в человеческой, и в писательской жизни шел Пришвин извилистым сложным путем, враждебно несхожим с писательским путем Ивана Бунина – ближайшего его земляка (быть может, в различиях родового и прасольско-мещанского сословий скрывались корни этой враждебной непохожести). Пришвина иногда называли «бесчеловечным», «недобрым», «рассудочным» писателем. Человеколюбцем назвать его

³ Пришвин М. М., Пришвина В. Д. Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996. С. 28.

⁴ Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., 1991. С. 28.

⁵ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1956–1957. Т. 6. С. 723.

⁶ Соколов-Микитов И. С. Из карачаровских записей // Новый мир. 1991. № 12. С. 177.

трудно, но великим жизнелюбцем и «самолюбцем» он был несомненно. Эта языческая любовь к жизни, словесное мастерство – великая его заслуга»⁷. Впрочем, здесь, кажется, примешалось личное. Хотя о главном в Пришвине – той самой любви к жизни – сказано, несомненно, точно.

⁷ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 63.

Часть первая. Гений жизни

Глава I. Детство

Писателями не становятся – рождаются. Сам Пришвин, правда, при этом оговаривал: «Родятся поэтами почти все, но делаются очень немногие. Не хватает усилия прыгнуть поэту на своего дикого коня»⁸.

В середине двадцатых годов он напишет одну из лучших своих книг – автобиографический роман «Кашеева цепь», и в первых ее главах, вернее звеньях – ведь речь идет о цепи – перед нами предстанет нежный и отважный мальчик Курымушка, влюбчивый, живой и внимательный. Прозвище свое дитя получило от кресла, стоявшего в комнате и названного взрослыми загадочным и непонятым словом «Курым». Насколько Курымушка соответствовал Мише Пришвину, равно как Алпатов (фамилия героя романа) – отроку Михаилу, сказать трудно, но Пришвин об этом соотношении оставил в Дневнике такие поэтические строки: «Есть семя, жаждущее влаги и ожидающее своего расцвета: вот из этого непророщенного семени и цветов, не расцветших в своей собственной душе, я создам своего героя, и пишу историю его как автобиографию, оно выходит и подлинно, до ниточки верно, и неверно, как говорят, "фактически"»⁹.

Верно или неверно, этого вопроса мы еще коснемся, но именно так, рука об руку шли в его жизни творчество и собственная судьба, и говорить о пришвинском детстве – значит говорить о его автобиографическом романе, и наоборот.

Людам свойственно идеализировать свое детство и окружающих его людей. Есть этот благодный налет и в «Кашеевой цепи», однако больше в этих описаниях драматизма. В детстве Пришвин был впечатлителен, нервозен, рано потерял отца, как всякий росший без отца мальчик от сиротства страдал и всю жизнь эту потерю пытался восполнить.

«Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы».

Подробность необыкновенно важная – с начала двадцатых годов и до самой смерти Пришвин вел фенологический дневник и соотносил с жизнью природы все подробности человеческого бытия, видя в них единое целое, по ошибке разделенное ущербными людьми.

Но последуем за автором дальше.

«Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой – церковь, рядом с церковью – «Поповка», где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая – в Поповке и третья в усадьбе».

Пришвин родился в усадьбе, однако место его рождения имело и другое, более широкое значение. Он появился на свет в той благословенной части Русской земли, что подарила нашей литературе великое соцветие писательских имен. Замечательный ученый В. В. Кожин в своей книге о Тютчеве заметил, что на сравнительно небольшом пространстве Русской земли, занимавшем всего три процента ее европейской территории, родилось по меньшей мере двенадцать классиков русской литературы: Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полонский,

⁸ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 723.

⁹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 22.

Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин. К апостольскому числу можно добавить тринадцатого – Леонида Андреева. А из писателей советского времени – Андрея Платонова, Евгения Замятина, Константина Воробьева, Евгения Носова.

Счастливая для литературы земля была не так уж приветлива к населявшим ее людям – недаром именно в этих краях проходило действие одной из самых трагичных и безжалостных книг русской литературы – бунинской «Деревни».

А вот что писал о родных краях Пришвин: «Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они *вышли* действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза».

Как и на Пришвина, родные места навевают тягостные мысли на Бунина. В «Жизни Арсеньева» читаем: «Дальше я поехал, делая большой крюк, решив для развлечения проехать через Васильевское, переночевать у Писаревых. И, едуци, как-то особенно крепко задумался вообще о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. Я ехал большой дорогой – и дивился ее заброшенности, пустынности. (...) А потом я опять вспомнил бессмысленность и своей собственной жизни среди всего этого и просто ужаснулся на нее...»

В детстве Пришвина окружали разные люди – многих он потом с благодарностью вспоминал, о многих писал, над одними посмеивался, других превозносил – но вырос в странной атмосфере, где причудливо переплетались вещи, казалось бы, несовместимые, и, быть может, именно отсюда проистекает та сложная картина мира, какая предстает в пришвинских произведениях. Самое сильное влияние на мальчика, безусловно, оказала мать, Мария Ивановна Пришвина, урожденная Игнатова, энергичная и сильная женщина, происходившая из староверческого рода белевских купцов-мукомолов (еще одно географическое совпадение: в крохотном Белеве появилась на свет «декадентская богородица» Зинаида Гиппиус, чьи слова о его безчеловечности Пришвин не забывал до конца дней).

Мария Ивановна вышла замуж в девятнадцать лет по выданью, мужа своего никогда не любила и воспринимала супружество как долг, так что, размышляя о судьбе матери, Пришвин записал в Дневнике: «...стыд личного счастья есть основная черта русской культуры и русской литературы, широко распространившей эту идею. Тут весь Достоевский»¹⁰, и хотя ни религиозного духа, ни отношения Марии Ивановны к жизни Пришвин не унаследовал, тягу к старообрядцам, к этой цельной, воинственной и глубокой культуре воспринял, и позднее эти впечатления и воспоминания о другой жизни, иначе говоря, родовая память, повлекли его в край непуганых птиц на Выгозеро.

Рядом со старообрядцами, на том же материнском русском корню подвизались самые настоящие революционеры. Именно старообрядцы, казалось бы, далекие от революции и революционеров, снабжали русских экстремистов деньгами, и два эти духа – раскольничий и революционный – слились воедино в пришвинском семействе.

Как знать, быть может, именно это сочетание образовало ту гремучую смесь, которая разорвала Россию. Недаром Пришвин, всегда находившийся в эпицентре исторических событий, отправился изучать русское старообрядчество и сектантство и впоследствии находил немало общего между сектантами и большевиками.

Мать Пришвина была из староверов, порвавших с древней отеческой верой, а ее племянник, Василий Николаевич Игнатов стал одним из организаторов печально известной группы «Освобождение труда», другой пришвинский кузен женился на Софье Яковлевне Герценштейн, сестре известного революционера Герценштейна, и стал газетным магнатом. Не отсюда

¹⁰ Пришвина В. Д. Путь к слову. М., 1984. С. 13.

ли ранний настойчивый интерес Пришвина к еврейской теме? Во всяком случае, говоря о Пришвине всерьез, тему эту обойти никак нельзя.

Так получилось, что женщины оказывали на мальчика гораздо большее влияние, чем мужчины. И кроме матери за его душу боролись две его сестры – две прекрасные героини «Кашеевой цепи».

Первая из них – Дунечка, Евдокия Николаевна, была старше кузена на пятнадцать лет, и оттого он воспринимал ее как тетку. Судьба этой женщины была тихо, по-русски трагична. Она получила образование в Сорбонне, вернулась в Россию и вслед за братьями из чувства милосердия и справедливости вступила в народовольческий «Черный передел». Когда же организация была разгромлена и многие ее активисты уехали за границу, молодая и очень красивая женщина оказалась никому не нужна. Ее тяга к революции была увлечением не головным, но сердечным – русская идеалистка, уверовавшая в благие цели заговорщиков, тургеневская девушка из знаменитого стихотворения в прозе «Порог» («О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? (...) Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и сама смерть? (...) что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»), но не столь решительная, не нагрешившая на тюремное заключение или хотя бы ссылку, она уехала в деревню, чтобы продолжать делать революцию там.

На свои деньги купила столы, скамейки, сняла флигель в одном из имений Елецкого уезда и устроила в нем школу. Что поделать, наше знание о жизни и уж тем более о русской истории насквозь литературно, и когда мы читаем о живых людях, так или иначе невольно соотносим их с известными литературными персонажами. Мытарства русских интеллигентов, идущих в народ, подробно, хотя и очень по-разному, описаны у Тургенева, Чехова, Горького, Вересаева. История Дунечки окончилась счастливо. Поначалу дети ходили в школу неохотно, но потом потянулись, и вот однажды к ней пришли мужики и предложили устроить школу на выделенной ими для этого общинной земле. Она построила школу на деньги, взятые из приданого, разбила фруктовый сад и проучительствовала сорок лет. А ученики ее становились кем угодно – учителями, агрономами, полицейскими, попами, но только не революционерами.

Жаль, мало было в России таких Дунечек...

Сама она, правда, так и придерживалась всю жизнь народовольческих иллюзий. «Тетенька, вы же хорошо понимаете, что я отказалась от жизни не для того, чтобы создавать попов, дьяконов и полицейских»¹¹, – говорила она Марии Ивановне Пришвиной и, судя по воспоминаниям писателя Андрея Пришвина, племянника Михаила Михайловича, к образу, созданному в «Кашеевой цепи», относилась скептически: «Господи, сколько он напридумал там! И я выведена какой-то весталкой из времен Нерона. И от всего-то я отказываюсь, и вечно на всех ворчала, и принесла я себя в жертву... Все это не так было, далеко не так»¹².

Советская власть, надо отдать ей должное, не забыла скромную труженицу, ненавидевшую большевиков. Когда Евдокия Николаевна уже не могла работать, ее поместили в «Дом Ильича» для ветеранов революции, где она провела десять лет, и в день ее похорон 10 июля 1936 года Пришвин записал: «Хоронили Дуничку, слушали речь, вроде того, что хороший человек, но средний и недостаточной революционной активности. Сам не мог говорить перед чужими, боялся разреветься. И не надо было говорить. Вечером хватил бутылку вина и так в одиночестве помянул Дуничку»¹³.

Она, без сомнения, была сентиментальна, любила Гарибальди, и Миша над ней до своего позднего прозрения и покаянных слез обыкновенно посмеивался и предпочитал дружную

¹¹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 33.

¹² Пришвин А. С. Вечные строки // Дальний Восток. 1971. № 11. С. 56.

¹³ Пришвин М. М. Собр. соч. В 8 т. М., 1982–1986. Т. 8. С. 299.

кузину – Марию Васильевну Игнатову, названную им Марьей Моревной. Известно о ней не так много, как о Дуничке. Она также кончила Сорбонну, много лет жила в Италии, отличалась способностями к искусству, однако ни в чем проявить себя не успела и сравнительно молодой, в 1908 году, умерла. Память о ней Пришвин бережно хранил и художественно переосмыслил, возвысил («И Марья Моревна, которую он вывел в своем романе, вовсе не была такой уж безгрешной», – говорила о своей кузине Евдокия Николаевна¹⁴) и, сравнивая двух этих женщин, писал: «Дуничка была застенчивая, она всегда жила и пряталась за стенкой. Маша, напротив, жила свободно в обществе. Маша была в искусстве, Дуничка в морали и связана была любовью к брату, а Маша любила свободно. Дуничка пряталась, как бы виноватая тем, что сама не жила для себя и боялась жизни. Маша была правая, свободная, неземная»¹⁵.

Она была для него образом «неоскорбляемой женственности», ее появление озаряет неземным светом страницы «Кашеевой цепи». Прекрасная и загадочная женщина, и не случайно ее описание в реалистическом и прозрачном романе окрашено в символистские, декадентские тона: «Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: "Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кашееву цепь?"»

Этот образ будет преследовать Пришвина всю его жизнь и определит важные для писателя вещи – здесь закладывалась основа его мировоззрения – отношение к Богу, к женщине, к смыслу и тайне жизни. То, что Марья Моревна, говоря языком церковным, была прелестна, находит подтверждение и в других эпизодах автобиографического романа. Не случайно соседка Алпатовых, Софья Александровна, единственный последовательно религиозный персонаж «Кашеевой цепи» (при всем скептическом отношении к ней повествователя), послушница старца Амвросия, говорит об алпатовской любимице: «Знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, – видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования, – право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее».

Слова эти тем более замечательны, что мечта в пришвинской философии – понятие чрезвычайно важное и неоднозначное. Будучи сам человеком мечтательным, он противопоставлял мечтательности, приведшей к революции, взгляд на жизнь людей практических и сметливых. Один из представителей могучего пришвинско-алпатовско-игнатовского родового древа сибирский пароходчик Иван Иванович Игнатов укрывает беглого революционера, спаивает гостей, пытается отправить мальчика в публичный дом, но в то же время испытывает сильное волнение, повстречавшись с наследником престола, будущим императором Николаем Александровичем, и заявляет племяннику:

«– Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

– Каким безобразием?

– Обыкновенным безобразием, что Бога нету, что царя не надо».

Отца своего Миша Пришвин знал совсем немного и вряд ли мог в детстве в его отношениях с матерью разобраться. Позднее он написал: «Мать моя не любила отца, но, конечно, как все, хотела любить и, встречая нового человека, предполагала в нем возможность для своей любви.

Так это в ней осталось до смерти, и с этим самым богатством нищего – возможность в каждом существе найти любовь для себя – родился и я»¹⁶.

¹⁴ Вечные строки. С. 56.

¹⁵ Путь к слову. С. 35.

¹⁶ Путь к слову. С. 13–14.

Она овдовела в сорок лет, Миша осиротел в восемь. Об отце он вспоминал, что это был человек мечтательный и бездеятельный, «страшный картежник, охотник, лошажник – душа Елецкого купеческого клуба»¹⁷, «человек жизнерадостный, увлекающийся лошадьми, садоводством, цветоводством, охотой, поигрывал в карты, проиграл имение и оставил его матери заложным по двойной закладной»¹⁸.

Этой бедностью, точнее, разоренностью родовых гнезд, купеческого у Пришвина и дворянского у Бунина, схожи обстоятельства жизни пришвинского и бунинского героев.

У Бунина:

«Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в Крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка...»

У Пришвина:

«Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверное, для такой веселой свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать "на банк"».

В «Кашеевой цепи» Пришвин написал о смерти отца: «... под утро стало тихо, но все – не так, что-то большое случилось в доме. И с этим предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

– Уходи, уходи!

– Надо бы...

– Не до тебя: Михал Дмитрич помер.

– Царство небесное! – перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намазывает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

– Маленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь *сирота*.

– Ну что ж, – ответил Курымушка, – зато у меня вот что есть.

– Что это?

– Папа вчера мне дал: голубые бобры».

Хотя мать долгие годы выплачивала долги мужа, она не только сумела своим невероятным трудом поднять имение, но и дать пятерым детям приличное образование.

«Мать, как вдова, обреченная на деревенскую жизнь и кормежку детей, приняла этот долг, не любя вообще долга. Мало-помалу ограда ее усадьбы стала оградой ее вдовства, а за оградой лежала свободная и прекрасная жизнь»¹⁹.

Отец оставил ему перед смертью рисунок – голубых бобров, порождая в нем тягу к творчеству, самовыражению, и так в душе мальчика возник первый мифологический образ, пронесенный им через всю жизнь.

В 1928 году он написал о том, что предопределило всю его жизнь:

¹⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 98.

¹⁸ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. 1920–1922. М., 1995. С. 274.

¹⁹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. 1914–1917. М., 1991. С. 180.

«Я знаю это в себе: страх и ужас от борьбы крови моей матери с отравленной кровью отца: "тут ничего не поделаешь!"»²⁰, а в 1951-м, возвращаясь незадолго до смерти к «Кашеевой цепи» и размышляя о своей изломанной юности, добавил: «Дети как жертвы переустройства женщин с домашнего мира на мужской. Дело, заменяющее дом, получает характер суеты, подмены чего-то главного и настоящего»²¹.

«Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом – уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов – в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть простым мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге "Принц и нищий"».

В середине жизни судьба предоставила ему возможность побыть мужиком, среди мужиков пожить, от мужиков же и настрадаться в годы русской смуты, наконец в последние годы жить почти что барином в Дунине, где к зажиточному советскому классику деревенские жители относились по-разному. Мужиков Пришвин очень хорошо знал и нимало не идеализировал.

Детство его проходило на солнцепеке – на первый, обманчивый взгляд, что-то от ранних лет Петруши Гринева: вольное, ничем не стесненное, но в глубине совсем иное, и позднее, вспоминая эти годы и глядя на фотографию, где изображен восьмилетним, Пришвин записал: «Мне кажется теперь, будто мальчиком я не улыбался, что я рожден без улыбки и потом постепенно ее наживал»²².

А еще позднее, незадолго до смерти, размышляя о счастливых «дворянских гнездах» с их божественным (семейным) ладом, добавил: «Я с этой тоской по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги»²³ – книги, в которых картина мира была куда более радостной, чем в жизни, книги, призванные эту радость в печальный мир привнести.

Самое первое образование мальчик получал вместе с крестьянскими детьми в сельской школе, а дальше пути их расходятся: они остались в деревне, и встретился он с ними через много лет, изгнанный из родительской усадьбы восставшими против помещичьей власти однокашниками, он же в безмятежные еще годы, как и положено барчуку, отправился в елецкую гимназию. Для того чтобы в нее поступить, надо было получить разрешение в церкви, нечто вроде характеристики или справки о том, что ребенок благонадежен, ходит к исповеди и причастию, и сцена из «Кашеевой цепи», когда Курымушка с матерью приходят в Ельце в храм, составляет одно из лучших мест пришевинского автобиографического романа.

Потеряв в храме мать, Курымушка повсюду ее ищет, по ошибке вбежав в алтарь через Царские врата (что по канонам Церкви является серьезным прегрешением), священник заставляет его класть поклоны, затем выводит к матери через боковые двери и делает ей наставление.

«– Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? – спросил батюшка.

– Мы в деревне живем, – конфузливо ответила мать, – в городе никогда не бывал.

– Ну, ничего, – заметив смущение матери, сказал батюшка, – всему свое время, а признак хороший – через Царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет».

И хотя в романе ранее упоминалось, что церковь в Хрущеве была (в этом отнюдь не единственная несообразность повествования) – сцена в храме описана так живо и достоверно,

²⁰ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 29.3.1928.

²¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 545.

²² Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 426.

²³ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 530.

что на противоречие читатель внимания не обращает. Кстати, у Бунина таких неточностей не найти – он относился к фактам с придирчивостью ученого-естествоиспытателя, и немало страниц его прозы и литературной критики посвящены яростной защите ее величества действительности, которая ничуть не ограничивала творчество Пришвина.

Далее следует не менее трогательная и чуть комичная сцена исповеди, знаменательная еще и тем, что писалась она в 1923 году, в эпоху разрушения церковью, массовых убийств и арестов священников, монахов и мирян:

«– Веруешь в Бога? – спросил батюшка.

– Грешен! – ответил Курымушка.

Священник будто смешался и повторил:

– В Бога Отца, Сына и Святого Духа?

– Грешен, батюшка.

Священник улыбнулся:

– Неужели ты сомневаешься в существовании Божиим?

– Грешен, – сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: – Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

– Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава Тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит».

Собственно на этом светлая и безбедная, счастливая полоса пришвинской жизни, какой она показана в романе, и, по-видимому, куда более печальная в действительности, закончилась; гимназические годы его оказались тяжелыми, если не сказать трагичными...

Глава II. Отрочество

Сегодня многие вспоминают дореволюционную Россию с теплым чувством, а старая гимназия видится едва ли не лучшей моделью школьного образования, так что иные школы, чаще всего без всяких на то оснований, называют гимназиями; в русской же литературе рубежа веков гимназия предстает местом скорее угрюмым, нежели радостным. В таком именно месте, в елецкой гимназии, в одно время оказались (как после этого не верить в неслучайность всего на свете происходящего) по меньшей мере три личности мирового уровня – Розанов (в качестве учителя), Бунин и Пришвин; несколькими годами позднее здесь учился будущий величайший русский богослов XX века о. Сергей Булгаков.

Розанов свое учительство ненавидел и – как только это стало возможно – с превеликой радостью его оставил, («Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» – что-то из двух»²⁴). Бунин гимназию бросил и занялся домашним самообразованием²⁵, а Пришвин был из нее исключен, причем из-за конфликта с Розановым.

В мае 1919 года, через несколько месяцев после смерти Розанова Пришвин так написал об истории их давнего знакомства:

«В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Нынче он скончался в Троице-Сергиевой лавре, и творения его, как и вся последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения.

Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое столкновение с ним было в 1883 году²⁶. Я, как многие гимназисты того времени, пытаюсь убежать от латыни в «Азию». На лодке по Сосне я удираю в неведомую страну и, конечно, имею судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой, удалой истребитель конокрадов Н. П. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Всех этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую по тому времени необыкновенную защиту»²⁷.

²⁴ Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 712.

²⁵ «В третьем классе я сказал однажды директору дерзость, за которую меня едва не исключили из гимназии» («Жизнь Арсеньева»). И чуть дальше: «Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто «по вольности дворянства», как он любил выражаться, бранил меня своенравным недорослем и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое, – суждения его всегда были крайне противоречивы, – то, что я поступил вполне «логично», – он произносил это слово очень точно и изысканно, – сделал так, как требовала моя натура». Сам же герой объясняет свое решение следующим образом: «И в мою душу запало твердое решение – во что бы то ни стало перейти в пятый класс, а затем навсегда развязаться с гимназией, вернуться в Батурино и стать «вторым Пушкиным или Лермонтовым», Жуковским, Баратынским, свою кровную принадлежность к которым я живо ощутил, кажется, с тех самых пор, как только узнал о них, на портреты которых я глядел как на фамильные».

²⁶ В. Д. Пришвина в книге «Путь к слову», впервые публикуя эту запись, называет 1886 год, в шестом томе пришевского собрания сочинений, где перечислены основные события жизни Пришвина, бегство датируется 1884 годом, и эта хронологическая путаница имеет, как мы увидим далее, весьма важное значение.

²⁷ Путь к слову. С. 43.

Благодарность благодарностью, но образ Василия Васильевича в автобиографическом романе «Кашеева цепь», написанном несколько лет спустя после смерти Розанова, скорее неприятен, тенденциозен и этим отличается от более сложных дневниковых записей, относящихся к Розанову. «Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому – что на ум взбредет, и с ним все от счастья». И несколькими страницами далее дается его портрет: «Весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица».

Это больше похоже на единственно странную и, быть может, действительно выдававшую некоторые черты в характере Розанова фотографию 1905 года, где писатель выглядит растрепанным и взвинченным. Или на впечатление, которое произвел Розанов на Пришвина в начале 1909 года в Петербурге, покуда карты не были еще раскрыты, и Розанов видел в Пришвине не своего бывшего ученика, а молодого, «ищущего» писателя, а Пришвин все еще не мог удержаться от мучительного подросткового воспоминания об их столкновении, несомненно наложившего отпечаток на его петербургское впечатление, и только готовился снять маску.

«Извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и <1 нрзб> дряблый, и все это дряблое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой похотью... это его сила»²⁸.

На фотографии же 1883 года, к которому относится действие романа, Розанов совершенно иной. Аккуратно подстриженный, с зачесанными назад волосами и высоким лбом, короткими усами и маленькой бородкой – ничего демонического. Разве что взгляд болезненный, страдающий. Но как бы там ни было, в «Кашеевой цепи» именно этот странный человек, которого ученики не любили (по свидетельству одного из гимназистов, он был с ними «сух, строг и придиричив»²⁹), обращает на Курымушку внимание, выделяет его из гимназической массы, ставит пятерку за пятеркой и на одном из уроков фактически подстрекает ученика к невероятному авантюристическому действию – совершить побег из гимназии и пробраться в Азию.

С точки зрения романической – ход блестящий: Пришвин очень точно обозначил роль Розанова в русской литературе. Автор журналов с противоположными политическими позициями, человек, взбаламутивший общественное сознание своими ни на что не похожими книгами («Великая тайна, а для меня очень страшная, – то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливость, и дух... "Нового времени"»³⁰), едва не отлученный от церкви горячий христианин и печальный христородец был по натуре великим подстрекателем и провокатором, и впечатлительный Курымушка вполне закономерно стал его жертвой.

Кстати, замечательно и то, что в качестве места назначения избрана именно Азия.

«– Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? – спросил очень удивленный картой учитель.

– Америка открыта, – ответил Курымушка, – а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

– Нет, в Азии все открыто, – сказал Козел, – но там много забыто, и надо это вновь открывать».

И, наконец, Азия, в отличие от Америки, – это реально, осуществимо.

Итак, трое отроков готовят побег. Один бежит от неразделенной любви, другой – по бунтарской натуре, а третий – от латыни, полицейских порядков и обязательного Закона Божьего,

²⁸ Пришвин о Розанове. С. 163.

²⁹ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 19.

³⁰ Блок А. А. Собр. соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 621.

по которому непременно надо иметь пятерку. Любимая книга его – «Всадник без головы», и весь этот сюжет напоминает чеховских мальчиков. Только если у Чехова заговор раскрывается и пресекается, не успев осуществиться и повлечь за собой неприятные последствия, то в «Кашеевой цепи» побег почти удается.

В первую же ночь беглецы замерзают, потому что, опасаясь погони, договариваются не разводиться костра и даже не выходить на берег, и тот, кто бежит от несчастной любви, уже готов покаяться и вернуться домой.

«От бабы бежал и к бабе тянет его», – презрительно говорит другой.

Но вот светает, мальчики начинают охотиться, проходит день свободы, за ним еще один, а на третий путешественники слышат на дороге звон колокольчика. Они быстро причаливают к берегу, залезают на дерево и видят погоню.

Хитроумному Курымушке приходит в голову отличная идея: мальчишки вытаскивают лодку на берег, переворачивают вверх днищем и под нее залезают, но за поиск взялся не простой полицейский, а знаменитый на всю округу становой и истребитель конокрадов, которого на мякине не проведешь. «Ночью дождя не было, а лодка мокрая», – соображает наблюдательный полицейский, переворачивает ее и обнаруживает беглецов. Он не бранит их и руки не скручивает, а устраивает с маленькими преступниками пикник, стреляет уток, угощает водкой и между прочим рассказывает, как его самого выгнали из шестого класса гимназии.

Бог ты мой, какая тут «полицейская Россия», какая «тюрьма народов»! – здесь симфония, радость жизни, бьющий отовсюду свет – другой такой радостной, человеческой книги о детстве «бесчеловечный» Пришвин не напишет, хотя будет пытаться сделать это в «Осударевой дороге». Отношения между суровым чекистом Сутуловым и мальчиком Зуйком близко не лежат рядом с теми, что установились у Курымушки с веселым становым, распеваящим с беглецами «Гаудеамус».

«– Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?»

– Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем – и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись».

Действительность выглядела куда более суровой и прозаической, нежели ее романная версия.

«Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопровождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице на второй этаж, где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александровича Закса. Третьеклассники шли с понурыми головами и хмурыми лицами, а второклассник Пришвин заливался горькими слезами», – лаконично повествует об этом событии учащийся той же гимназии Д. И. Нацкий, коренной житель Ельца, впоследствии работавший многие годы врачом в железнодорожной больнице³¹.

Один из участников побега, Константин Голофеев, в своих показаниях заявил: «Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому сообщил о ней проживавший с ним летом кадет Хрущов, а Пришвин передал об этом Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов»³².

Всего этого – как пришвинские мальчики раскаивались и друг друга «сдавали», как позорно плакал один из них, – в романе нет, и ничто не бросает тень на гордый бунтарский дух маленьких гимназистов. Однако безжалостная история сохранила для нас два документа.

Первый – точку зрения обеспокоенного начальства, выраженную в постановлении гимназического совета от 16 сентября 1885 года:

«...Педагогический совет, рассмотрев все вышеизложенные обстоятельства, признал, что ученик Чертов был главным руководителем всех поименованных учеников и, располагая

³¹ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 18–19.

³² Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 20.

денежными средствами, приобрел на остальных влияние, которым и воспользовался для задуманного им путешествия, что им же, Чертовым, куплены револьверы, ружья, топор, порох, патроны и лодка; остальные ученики, по убеждению педагогического совета, были только исполнителями задуманного Чертовым плана, увлекшись заманчивостью его предложений, а потому совет постановил: ученика II класса Николая Чертова уволить из гимназии... а остальных, Пришвина, Тирмана и Голофеева, подвергнуть продолжительному аресту с понижением отметки поведения за 1-ю четверть учебного года. <...>»³³

И второй – еще более примечательный: автор его сам Михаил Пришвин, и этот документ, создателю которого не исполнилось и тринадцати лет, интересен тем, что является, по-видимому, наиболее ранним дошедшим до нас пришвинским текстом:

«Нынешнее лето проживал у нас в деревне кадет 3-го Московского корпуса Хрущов со своею матерью. Хрущов рассказывал мне, что у них в корпусе бежали два кадета и возвращены были назад. Это я, когда приехал в город, рассказал Чертову, как новость. Чертов сказал, что кадеты дураки, потому что не умели бежать. Спустя неделю Чертов во время классных перемен начал подговаривать меня, Тирмана и Голофеева к бегству, говорил, что это очень заманчиво, что можно бежать так, что не воротят, и сказал, что у него уже все готово, что есть деньги, оружие и что есть; сказал, что поедем с переселенцами, а потом сказал, что на лодке по Сосне в Дон, а из Дона по берегу Азовского моря.

Револьвер (два) Чертов вместе с Тирманом купил на свои деньги в лавке Черномашенцева, рядом с Богомоловым. Это он говорил сам и Тирман...

По дороге к Сосне мы остановились около кузницы, где Тирман сошел с извозчика, чтобы взять заказанные в кузнице мечи. Около моста Чертов дал лодочнику за лодку 25-рублевую бумажку и получил сдачи 6 рублей, и лодочник отдал лодку, в которую Чертов положил три ружья, ранец, в котором находились три пистолета, патроны, порох (5 фунтов), табак, спички, пули, дробь и отдельно мечи и топор.

Когда мы спрашивали, откуда у Чертова деньги, он сказал, что продал часы золотые. Мы спросили, чьи часы, он ответил, что родителей <...>.

Ночью, когда мы ехали по Сосне, Тирман испугался и просил Чертова, чтобы он отпустил его домой и дал ему один револьвер. Чертов рассердился сначала, а потом начал над ним смеяться. Тогда Тирман согласился остаться.

Ни у кого денег не было, мамаша мне денег не дает. Платил за все Чертов. Одно ружье он купил на базаре, как говорил Тирман, а где взял 2 другие ружья, не знаю. Он сам сказал, что топор взял из дома. Хлеб и соль на дороге покупал Тирман за деньги, которые дал ему Чертов. За перетаскивание лодки через плотину платил Чертов.

Когда мы увидели, что нас догоняют, мы очень испугались. Чертов сказал, что нужно пристать к другому берегу, потопить лодку и бежать.

Но в это время явился становой пристав Крупкин, нас задержали и возвратили в город.

Револьверы были заряжены, но их разрядил Крупкин, когда нас задержал, и положил в телегу, в которой ехали Тирман и Голофеев. <...> М-ме Шмоль, у которой я с Голофеевым квартировал, тотчас же дала знать о моем побеге моей маме, и мама моя приехала из деревни в тот же день ночью, так что, когда нас возвратили, я застал свою маму у м-ме Шмоль. В этот же день меня вызывали в гимназию, и после меня в этот же день ходила в гимназию мама. Ученик второго класса Елецкой гимназии Пришвин Михаил»³⁴.

Самое неожиданное и расходящееся с более поздней пришвинской версией – не этот безыскусный и в то же время обстоятельный рассказ напуганного подростка. Пришвин и в

³³ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 20.

³⁴ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 20.

Дневнике, и в письмах утверждал, что в той драматической ситуации не кто иной, как Розанов, поддержал его, заступился и спас от отчисления.

«Страна обетованная, которая есть тоска моей души, и спасающая и уничтожающая меня – я чувствую – живет целиком в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве я не знаю. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в «Америку»...

– Как я завидую вам, – говорил он мне»³⁵.

Это запись 1908 года, а в 1922-м по просьбе философа и литератора, редактора берлинского эмигрантского журнала «Новая русская книга» А. С. Яценко он пишет автобиографию (текст ее также приводится в Дневнике): «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов Василий Васильевич (писатель) был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения...»³⁶

Во всей этой замечательной истории по меньшей мере две фактические неточности. Во-первых, побег в Азию состоялся не в 1883 году, когда Миша поступил в гимназию, и даже не в 1884-м, как указал Пришвин в другом месте³⁷, но и не в 1886-м, как поправляет мужа Валерия Дмитриевна, а в августе 1885 года, то есть мальчику было не десять с половиной, а двенадцать с половиной лет, и за спиной у него были два гимназических класса (в одном из которых он просидел два года – вот почему и был второклассником, а остальные – третьеклассниками). А во-вторых, Василий Васильевич Розанов (писатель) перевелся из Брянска в Елец только в 1887 году³⁸, два года спустя после «Мишиного бегства», и, таким образом, вся первая часть пришвинско-розановской гимназической истории с заступничеством учителя за ученика, подстрекательством к бегству и пророчеством о его необыкновенном будущем является чистой водой мистификацией.

Поразительно, что никто из исследователей не обратил на это очевидное противоречие внимания. В примечаниях к «Кашеевой цепи», составленных замечательным русским литератором Н. П. Смирновым, хорошо Пришвина знавшим, написано: «Учитель географии «Козел» – это молодой В. В. Розанов (1856–1919), впоследствии реакционный писатель, публицист, критик, постоянный сотрудник монархического «Нового времени» А. С. Суворина. Розанов преподавал в елецкой гимназии до 1891 года»³⁹. Непонятно, почему не указано, с какого. Ведь если Н. П. Смирнов знал дату ухода Розанова, то, по логике, должен был знать и дату его поступления в гимназию.

Во вступительной статье А. Л. Налепина – одного из первых розановских публикаторов в советское время – к «Сочинениям» Розанова говорится: «Книга (имеется в виду первая розановская книга "О понимании". – А. В.) вышла в Петербурге в 1886 году. Розанов жил тогда в Ельце, преподавал в тамошней мужской гимназии географию, и среди его учеников был и тринадцатилетний Михаил Пришвин – будущий автор "Осударевой дороги", "Кладовой солнца"

³⁵ Пришвин о Розанове. С. 162.

³⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 274.

³⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. 1918–1919. М., 1994. С. 365.

³⁸ Вот что Розанов писал в автобиографии в 1890 году: «...через год я окончил курс в университете (Розанов окончил университет в 1882 году, это факт установленный. – А. В.) и, хотя был далек от мыслей об учительстве, самую жизнь был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства. (...) Когда прошло пять лет, я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как жизнь моя там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии. Здесь живу я 3-й год...» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 691). А вот примечание составителя к этой записи: «Летом 1886 года Аполлинария Прокофьевна (Сулова, первая жена Розанова. – А. В.) оставила Розанова, и он, глубоко переживая ее уход, перевелся в 1887 году в Елец» (Там же. С. 806).

³⁹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 569.

и, конечно же, "Незабудок", книги до сих пор так и не оцененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских "Опавших листьев"⁴⁰.

Та же версия изложена в книге В. Д. Пришвиной «Путь к слову», ее повторяет в своем прекрасном исследовании о Пришвине В. Курбатов («Пришвин... долго был ожесточен против Розанова, не понимая, почему тот заступился за него после "Азии" и выгнал за "самый незначительный проступок"»⁴¹) и т. д. и т. п. Наконец, сам Пришвин в «Осударевой дороге» пишет о том, что совершил побег в девятилетнем возрасте. Таким образом, заступничество Розанова – явный вымысел, и его проще было бы понять и объяснить, если бы эта легенда рождалась в ту пору, когда Пришвин, работая над «Кашеевой цепью», попросту включил в текст Дневника один из набросков к роману, где розановское напутствие сюжетно необходимо, как пружина, приводящая в действие весь механизм, хотя – поразительное дело! – как раз эпизода с учительским заступничеством перед начальством в нем нет. Но Пришвин сознательно внес изменения в эту историю намного раньше, в 1908–1909 годах, когда вряд ли он о будущем романе всерьез задумывался. Полностью же легенда оформилась только после смерти Розанова.

Не исключено, что на образ Розанова в данном случае наложились реальные отношения, возникшие между Мишей Пришвиным и директором гимназии Заксом. «Строго беспощадный и справедливый» – латыш Николай Александрович Закс (тот самый, которому нагрубил и едва не был за эту грубость исключен Ваня Бунин) некоторое время после побега оказывал на мальчика большое влияние, так что благодаря ему беглец стал лучше учиться и перешел в третий класс. Но потом на ребенка опять напала лень, разочарованный Закс остыл к нему, и Пришвин остался в третьем классе на второй год, где его догнал младший брат Сергей (который был на три года его моложе), получал по математике четверки; Миша же носил тройки, что окончательно повергло его в уныние.

Разумеется, все это только предположения, ни подтвердить, ни опровергнуть которые невозможно, так как имеющихся в нашем распоряжении свидетельств и фактов очень мало. Но очевидно одно: расхождения существуют не только между романом и действительностью (что естественно), а также между романом и Дневником, но и между Дневником и действительностью и объясняются они отнюдь не ошибками памяти – вот почему и к пришвинскому Дневнику следует подходить с мерками художественного произведения.

Однако вернемся к «Кашеевой цепи», с помощью которой, быть может, нам удастся пролить свет на пришвинскую мистификацию, как и на образ Козла, явно не соответствующий образу пусть даже неординарного гимназического учителя, каким могли видеть его пусть даже неординарные ученики.

Вот как о странном педагоге разговаривает Курымушка через несколько лет после побега со своим старшим товарищем Несговоровым, прототипом которого стал будущий большевик и нарком медицины Семашко (еще один елецкий выходец, дружба с которым существенно облегчала пришвинскую жизнь в послереволюционные годы).

«– Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрепощивает, он – мечтатель.

– Что значит мечтатель?

– А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: "Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии"».

Вряд ли Несговоров-Семашко был способен в ту пору на подобные рассуждения. Все сказанное, с одной стороны, совершенно внеисторично, а с другой – представляет собой опреде-

⁴⁰ Налетин А. Л. Книга – это быть вместе // В кн.: Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 8.

⁴¹ Курбатов В. Михаил Пришвин. М., 1986. С. 13.

ленную литературную полемику, своеобразный психологический реванш, который берет Пришвин у своего учителя, хотя Розанова к тому времени уже нет в живых.

«– Но ведь это гадко, – почему же ты говоришь, что он умный?

– Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

– А умный, по-моему, – это и честный».

Напрямую сталкивала Пришвина с Розановым и очень важная для обоих тема: отрицания и поиска Бога. Так, например, Алпатову приходит в голову мысль, что в гимназии детей «обманывают Богом».

«Кто же виноват в этом страшном преступлении? – спрашивает себя Курымушка. (...) «Козел виноват!» – сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель».

И это снова не что иное, как литературная полемика с человеком, для которого понятие «мечты» было одним из ключевых:

«– Что же ты любишь, чудак? – Мечту свою. (вагон, о себе)»⁴²

«Да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже больше чем пищу – он любит мечту свою. А в революции – ничего для мечты»⁴³.

В пришвинском Дневнике открытым вызовом Розанову этот мотив в канун революции отольется в афоризм: «Революция – это месть за мечту»⁴⁴, и революцию не принявший, ею ограбленный и ее проклявший, именно с мечтательностью, с розановским дурманом и спорил Пришвин в своем послереволюционном романе.

Как справедливо отмечает в статье «Загадка личности Розанова» В. Г. Сукач, «по существу, Розанов весь ушел в мечту. Она завладела его душой и стала лепить ее по своим законам и путям (...) Детский и отроческий мир Розанова, деформированный грубым своеволием среды, воспринимался им как случайный набор событий, поступков. «Иное дело – мечта, – писал Розанов, – тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно "невоспитываемый" человек, совершенно не поддающийся "культурному воздействию"»⁴⁵.

Пришвинский лирический герой – антипод розановского, он человек действия, личность волевая и отважная («Прочитал Розанова «У<единенное>» и сравнивал с собой, он – не герой, а во мне есть немного и даже порядочно герой, рыцарь (...) Озарение розановское происходит без расширения души, простирающегося до жажды благородного поступка, как у юношей»⁴⁶), но есть между ними и что-то общее, глубоко роднящее их, и под этим знаком притяжения и отталкивания проходит вся история их знакомства.

В Дневнике 1914 года Пришвин выразит это так: «С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее»⁴⁷.

Творческий и идейный диалог Пришвина и Розанова в этом ключе притяжения и отталкивания подробно рассмотрен в диссертации Н. П. Дворцовой⁴⁸, и к этой теме мы еще не раз будем возвращаться. Однако, помимо столкновения мировоззрений, огромную роль здесь играет психология взаимоотношений двух творческих личностей, психология творчества

⁴² Розанов В. В. Указ. соч. С. 114.

⁴³ Розанов В. В. Указ. соч. С. 71.

⁴⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 45.

⁴⁵ Розанов В. В. Указ. соч. С. 15.

⁴⁶ Пришвин о Розанове. С. 198.

⁴⁷ Пришвин о Розанове. С. 167.

⁴⁸ Дворцова Н. П. Творческий путь М. М. Пришвина и русская литература начала XX века. Дисс. на соиск. уч. степ. доктора филол. наук. М., 1994.

вообще, и именно этим можно объяснить тот факт, что в лучшем своем романе писатель сознательно выбирает и запечатлевает только одну, темную сторону розановского лика. Правда, не исключено, что, если бы Пришвин продолжил жизнеописание Алпатова, образ Козла развился бы и приобрел новые черты, но этого не случилось, и в романе сей персонаж выкрашен одним, пусть и ярким, черным цветом.

Вот разговор подростка Алпатова, желающего узнать последнюю тайну бытия, с гимназистом Калакутским – по дороге в публичный дом.

«– А Козел тоже ходит?»

– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

– Как же это?»

Калакутский расхохотался.

– Неужели и этого ты еще не знаешь?»

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого».

Интересно, что в те же самые годы Пришвин в Дневнике противопоставляет Розанова молодым советским писателям, у которых «эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов <...> Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым – он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор «Капитала») научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно – такой человек мог о всем говорить»⁴⁹.

Можно было бы объяснить этот двоящийся фокус пришвинского взгляда соображениями цензурными: в советской литературе двадцатых годов иначе как в отрицательном образе реакционный публицист и сотрудник черносотенного «Нового времени» и не мог появиться, а в Дневнике Пришвин был никому не подвластен и писал, что хотел и как хотел, но все же подобные представления о Пришвине упростили бы, если даже не исказили и его художественные принципы, и его место в литературном процессе. Михаил Михайлович слишком высоко ценил свою литературную и личную независимость, чтобы уступать конъюнктуре. Очевидно, что причины этого раздвоения лежали глубже – на художественном, а не на политическом уровне. И суть этого раздвоения, уникальность Пришвина как художника в том, что без его художественной прозы не может быть понят его Дневник, а без Дневника – проза, они идут бок о бок и лишь в совокупности своей позволяют нам судить об авторской позиции. Более того, в известном смысле не столько дневниковые записи являются лесами к его роману, сколько роман к Дневнику, равно как и все опубликованное у Пришвина в советские годы призвано объяснить неопубликованное, и, возвращаясь к теме нашего исследования, ставить знак равенства между гимназическим учителем в романе, гимназическим учителем в Дневнике и гимназическим учителем в реальной жизни нельзя⁵⁰.

⁴⁹ Пришвин о Розанове. С. 174.

⁵⁰ Замечательно, что уже в наше время известный критик И. А. Дедков, прочитав «Кашееву цепь», записал в своем дневнике: «Чтение «Кашеевой цепи» (так у Дедкова. – А. В.) Пришвина доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов), или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству?» (Новый мир. 2000. < 11. С. 151).

Розанов в елецкой гимназии – глубоко несчастный, страдающий, одинокий человек; Розанов в пришвинском Дневнике – противоречивая, яркая личность, заставляющая Пришвина до конца дней мучительно размышлять о самых важных вопросах бытия; Розанов в романе – Козел, олицетворение плена, зла, несвободы, пережитого в публичном доме в комнате фарфоровой женщины ужаса.

Алпатов спасается, убегает от «большой фарфоровой бабы с яркими пятнами на щеках», потому что «невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами».

Однако в романе первый неудачный опыт героя в публичном доме⁵¹ оказывается, несомненно, связанным с Козлом; Василий Розанов, его прототип, первый открыто обозначил эротическую тему в русской литературе и общественной мысли, легализовал ее (Барков, озорные стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева были предназначены для «внутреннего» пользования, для сугубо мужской компании).

При этом в Дневнике Пришвин говорит о розановской искренности, гениальности, русскости и, наконец, о своей с ним родственности. Чего стоит хотя бы такое признание Пришвина, относящееся к 1938 году: «...а мысль его часто завершает мое пережитое: я все то же сам пережил, обладаю наличием всех соответствующих чувств, остается дожидаться объединения всех этих материалов мыслью, и я бы дождался, но вот Розанов приходит и говорит то самое, что я скоро бы должен сказать»⁵². Или: «Вот где-то тут, в чувстве рока, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова»⁵³.

Но вернемся к герою «Кашеевой цепи», спасшемуся от фарфоровой женщины. «Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

– Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!»

И чуть дальше – как приговор:

«– Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет».

После брошенных ему прилюдно горьких слов Алпатов не сдаётся, но принимает вызов.

«Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

– Тебе что?

– Пост пополам хряпнул.

– Ну, так что?

– Коты на крыши полезли.

– Что ты хочешь сказать?

– Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

– Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

– Вон, вы опять дрожите, невозможно сидеть.

⁵¹ В самом конце жизни Пришвин о том же самом скажет совсем иначе: «Зачем я так неверно писал о падении Курьмушки в публичном доме? Я писал о том, как бывает, если не удастся пасть. Но я помню этот восторг, когда удалось!» (21.7.1951) Ср. также у Ремизова в «Кукхе»: «Розанов говорил: когда он первый раз это сделал (...) так на другой день с утра он песни пел» (Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. – Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 23).

⁵² Пришвин о Розанове. С. 198.

⁵³ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 29.3.1929.

– Вон, вон! – кричал в бешенстве учитель. Тогда Алпатов встал бледный и сказал:
– Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

– Ты – маленький Каин! – прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

– Козел! Козел! – крикнул ему в спину Алпатов».

Глава III. Юность

Вот собственно и все... Больше учитель географии в романе не появится, а слова, которые прошептал он Алпатову, окажутся последними им произнесенными на этом пространстве. Трудно сказать, кого здесь больше жаль, оскорбленного учителя или исключенного ученика, кто палач, а кто жертва; и не этот ли трагизм, эту невозможность каждой стороны поступиться своей правдой и хотел выразить писатель Михаил Пришвин или выразил против своей воли? Да и не случайно, наверное, само прозвище Козел – независимо от того, какой смысл вкладывали в него елецкие дети – в греческом языке того же корня, что и слово «трагедия».

Маленький Каин. Маленький убийца... Пришвин вовсе не скрывает, а скорее акцентирует действие на том, что Алпатов ради самоутверждения приносит в жертву своего учителя, и яростный крик в спину уходящему, поверженному врагу звучит как выстрел. Только ведь Козел – вовсе не агнец и его прообраз – отнюдь не добродетельный Авель, чья жертва была угодна Господу. Здесь, если так можно выразиться, – два Каина, две гордости и два самолюбия столкнулись, уступить не мог ни тот ни другой, и как пронизательно написал сразу после публикации «Курымушки» советский критик, один из лучших знатоков пришевского творчества Н. Замошкин: «Однако купеческая кровь сказала – он (Пришвин. – А. В.) нашел в себе решимость с поразительной откровенностью отплатить своему учителю, создав из него бессмертный образ Козла. Но эта атака изнутри выдает с головой и самого атакующего»⁵⁴.

Тема каинова греха в романе вынесена даже в заглавие одного из звеньев, и лишь в пятидесятые годы, дописывая «Кашееву цепь» и сопровождая каждое звено авторским послесловием, писатель сместил логические акценты романа и перенес упор этого противостояния на мотив преодоления личной неудачи.

«Это была коренная неудача. Казалось тогда: сбили тебя в дорожную канаву на основном жизненном пути, а сами всей массой весело дальше идут по хорошей дороге, – с кого спрашивать?»

Торчмя головой полетел ты в канаву, и мечта твоя о небывалом обманула тебя, как снежинка растаяла у тебя на ладони, – опять, с кого же спрашивать?

Но так уже устроена душа человека-неудачника, что он ищет виновника своей неудачи».

Но что же все-таки произошло тогда в провинциальной гимназии между двумя этими людьми на самом деле?

Из черновых и более точно соответствовавших действительности набросков к «Кашеевой цепи» картина столкновения складывается такая.

Реальный Курымушка-Миша Пришвин-Алпатов учился не просто плохо, но катастрофически плохо. В замечательной статье О. Н. Мамонтова, который и раскопал в елецких архивах подлинную историю пришевского бегства, приводятся такие факты: «К исходу 1883/84 учебного года у Пришвина были неудовлетворительные отметки по латыни, математике и чистописанию. Обсудив успеваемость юного Пришвина, комиссия педагогов сделала заключение: "Безнадежен (по малоспособности)"»⁵⁵. Как написал о том периоде своей жизни сам Пришвин, «я совершенно не в состоянии понимать, что от меня требуют учителя. Мучаюсь, что огорчаю мать единицами и за успехи, и за поведение»⁵⁶ (...) В четвертом классе я говорю Розанову дерзость: "Если вы мне выведете двойку по географии, я не знаю, что сделаю"»⁵⁷.

⁵⁴ Замошкин Н. И. Творчество Михаила Пришвина // Печать и революция. 1925. Кн. 8. С. 126.

⁵⁵ Мамонтов О. Н. Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Русская литература. 1986. № 2. С. 177.

⁵⁶ Хотя любопытно, что позднее Пришвин находил в своей неспособности к обучению некий позитивный смысл: «И вот как чудо: многое доставляет теперь счастье потому, что в школу не проходил и вообще скверно учился» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневники М. М. Пришвина. 17.4.1926).

⁵⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

По другой версии, которую приводит в своей книге Валентин Курбатов на основе розысков в местных архивах (речь идет о воспоминаниях наркома Семашко), дело обстояло и того хуже:

«Слушайте, Козел! Если вы не прекратите придирааться ко мне, я вам морду разобью!»⁵⁸ Розанов (как пишет Пришвин, «тогда больной») ставит в совете условие:

– Или он, или я.

Вот текст докладной записки самого Розанова, опубликованной не так давно в журнале «Русская литература»:

«Честь имею доложить Вашему Превосходительству о следующем факте, случившемся на 5 уроке 18 марта в IV классе вверенной Вам гимназии: ученик сего класса ПРИШВИН Михаил, ответив урок по географии и получив за него неудовлетворительный балл, занял свое место за ученическим столом и обратился ко мне с угрожающими словами, смысл которых был тот, что если из-за географии он не перейдет в следующий класс, то продолжать учиться он не станет, а выйдя из гимназии, расквитается со мною. «Меня не будет, и Вас не будет», – говорил он, между прочим. Затем сел, и так как тишина класса не нарушалась, то я продолжал урок, до конца которого оставалось несколько минут. Через небольшой промежуток времени он встал и попросил извинения, ссылаясь на то, что о поступке его будет доложено Вашему Превосходительству. Он исполнил мое желание, еще раз сказав, что, принеся извинения перед всем классом, исполнил то, что от него требовалось, и по тону слов его было видно, что он считает это извинение почти заглаживающим вину. В субботу я остаюсь после 5-го урока дежурным с арестованными учениками, между которыми был и ПРИШВИН Михаил (за 2 по географии, по желанию, ранее выраженному г. классным наставником). Передавая ему записку, в которой родители извещались о его аресте и причине оного, я спросил его, что побудило его к поступку такой важности, и, указав ему на тон извинения, спросил его, какие вообще представления он имеет о себе и других людях, с которыми ему приходится вступать в отношения. Он высказал, что вообще не считает кого бы то ни было выше себя; что же касается до самого поступка, то он сделан был для того, чтобы выдаться из учеников, показав им, что он способен сделать то, что никто из них не решился бы. Считая самый поступок выходящим из ряда обычных явлений гимназической жизни, а объяснения, его сопровождавшие, в высшей степени значительными с нравственно-воспитательной точки зрения, я почел своим долгом обо всем этом доложить Вашему Превосходительству, как высшему руководителю гимназической жизни и охранителю дисциплины в ней. Преподаватель В. Розанов. 20 марта 1889 г.»⁵⁹.

Еще более потрясающая, с самыми фантастическими подробностями версия этого происшествия была изложена В. В. Розановым в письме к Н. Н. Страхову. Отчасти повторив в письме к известному критику и своему литературному опекуну то, что уже было написано в докладной записке, Розанов продолжал:

«У этого ученика более 1 500 000 капитала и он любимец матери, коя ненавидит старшего брата (ученик VII класса, тихий малый) и хлопчет у адвокатов, не может ли она все имущество передать по смерти 2 сыновьям, обойдя старшего (говорят, она – удивительная по уму помещица, но к старшему сыну питает органическое отвращение); я все это знал и видел, где корень того, что в IV классе он уже никого не считает выше себя. Сегодня на 2-м уроке написал директору докладную записку о случившемся, в большую перемену собрался совет, и все учителя единогласно постановили уволить. Завтра ему объявят об этом, а я сегодня после уроков купил трость, в виду вероятной необходимости защищаться от юного барича»⁶⁰.

⁵⁸ Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 13.

⁵⁹ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 22.

⁶⁰ Цит. по: Николокин А. П. Розанов. М., 2001. С. 418.

Трость не потребовалась, а вот ученика гимназический совет не просто исключил, но с волчьим билетом, без права поступления в другие учебные заведения этого типа, и таким образом поставил крест на пришвинской судьбе и на долгие годы поселил в нем чувство неуверенности в себе.

Мог ли Розанов поступить иначе? Ведь должен был он, умный, глубокий и пронизательный человек, понимать, как жестоко поступает по отношению к задиристу и явно незаурядному мальчику, тем более что и сам он, по собственному признанию, в гимназические годы «всегда был "коноводом" (против начальства, учителей, особенно против директора)»⁶¹, плохо учился, оставался на второй год, и его, маленького, терроризировал директор симбирской гимназии по прозвищу Сивый.

Отвечая на этот заданный или только подразумеваемый вопрос, Розанов говорил Пришвину во время их петербургской встречи два десятка лет спустя:

«— ...Я не мог иначе поступить: или вы, или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите докладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай...

— А с Бекреневым? — хотелось спросить.

Он рассказывает, как плохо ему жилось учителем гимназии. Теперь вот учат, а тогда... Место покупалось у попечителя... Розанов мечтатель, а тут нужно было что-то делать до того определенное... Казалось, что с ума схожу... И сошел бы... Я защищался эгоистично от жизни... В результате меня не любили ни ученики, ни учителя...»⁶².

В пришвинском изложении этот лепет выглядит довольно жалким и неубедительным, что Розанову было несвойственно совершенно (этот человек мог убедить кого угодно в чем угодно и ни перед кем не тушевался), а вот о том, насколько его не любили и как мучили, рассказывает в своих воспоминаниях учитель елецкой гимназии Павел Дмитриевич Первов, в соавторстве с которым Розанов переводил «Мысли» Б. Паскаля и первые пять книг «Метафизики» Аристотеля и о котором Пришвин с благодарностью много лет спустя написал:

«30 октября. Пятница. И хлещет дождем, и крутит, и мутит, хуже некуда. Остается только надежда на себя, что мое утреннее писание будет освещать мое внутреннее солнце.

Вспомнился отличный учитель древних языков Первов, как он однажды осенью в классе, мельком взглянув на мутное окно, сказал: «Мы, люди, должны быть независимы в своих делах от погоды». Тогда это было непонятно, но береглось в себе около семидесяти лет, а теперь я тем и живу, что навстречу непогоде за окном вызываю из себя солнце»⁶³.

Приведу лишь один эпизод из воспоминаний Первова о Розанове, характеризующий учительские нравы той благословенной поры:

«Раз он попал на холостую попойку учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким (учитель гимназии, где преподавал Розанов. — А. В.), который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: "И мы тоже кое-что понимаем!" В разгар спора Десницкий схватил с полки книгу "О понимании", преподнесенную Розановым Желудкову, положил ее на пол, расстегнул брюки и обмочил ее, при общем хохоте всех присутствующих повторяя: "А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит"»⁶⁴.

Легко догадаться, что испытывал этот раздражительный человек, сталкиваясь с хамством своего ученика. И ведь не с простым хамством, а с некой философией, когда нерадивый гим-

⁶¹ Розанов В. В. Указ. соч. С. 55.

⁶² Пришвин о Розанове. С. 163.

⁶³ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 631.

⁶⁴ Цит. по: Розанов В. В. Указ. соч. С. 736.

назист имел наглость рассуждать, апеллировал к учителю, возмущал его и насмехался. Можно понять Розанова, но следует понять и Пришвина. И не судить ни того ни другого.

В дальнейшем к этой ситуации и сам Пришвин относился более взвешенно: «Розанов был сам нежный тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым»⁶⁵.

Но многие годы обида оставалась очень горяча.

В 1922 году Пришвин писал об этом эпизоде Яценке: «Нанес он мне этим исключением рану такую, что носил я ее не зажитой и не зашитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощения ("Впрочем, – сказал, – это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло")»⁶⁶.

Впрочем, с пользой не все так просто... Пришвин принадлежал к той породе людей, кто исключительно тяжело переживает душевные скорби, и эта рана оставила след в его душе на всю жизнь, подобно тому как ранила его через несколько лет неудавшаяся любовная история. Два этих горьких события определили будущую судьбу писателя, и на протяжении всей жизни Пришвин не раз возвращался к этому эпизоду.

«Из моей жизни. Преодоление неудач. В связи с чтением «Кашеевой цепи» мне вспомнилось (и как жаль, что я это не вспомнил, когда писал «Кашееву цепь»). Мне вспомнилось, что когда после исключения меня из Елецкой гимназии Розановым Алеша Смирнов прислал мне сочувственное письмо с обвинением во всем Розанова (все были против исключения, он один), я ответил ему: «Дорогой Алеша, не вини Розанова – я сам во всем виноват. Я даже хотел было застрелиться, и револьвер есть, но подумал и оказалось, я сам виноват, так почему же стреляться – и вот не стал».

Что-то в этом роде написал, а умный Алеша письмо снес в гимназию, а из гимназии оно попало к матери и Дунечке, и вот почему все стали ухаживать за мной, как за больным и хорошим мальчиком»⁶⁷.

В 1944 году Пришвин записал уже по поводу своего романа: «Вспомнил, как я несправедливо выступил в «Кашеевой цепи» против учителей елецкой гимназии. Нужно было пройти таким 60-ти годам, чтобы учителя были поняты мною как хорошие учителя»⁶⁸, а еще через семь лет: «В моем личном жизненном опыте я был врагом своих учителей в школе, я же потом и стал на их сторону против себя»⁶⁹, и как разрешение всей этой ситуации: «Меня выгоняли из школы, потому что я был не способен к учению и непослушен. А теперь в каждой школе по хрестоматиям учат детей моим словам, меня теперь все знают и многие любят.

Почему это случилось? потому что я боролся за себя, или что меня выгоняли? Было и то и другое: я должен был по натуре своей бороться, они должны были меня выгонять.

Им хотелось сделать из меня хорошего мальчика, я хотел найти свой путь к хорошему»⁷⁰.

Много лет спустя участники провинциальной драмы времен царствования императора Александра III встретились в столице империи, на заседании Религиозно-философского общества, и Пришвин сполна познал вкус победы.

«Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий (чудесный в своем простодушном и юношеском литературном эгоизме эпитет, особенно если учесть, что Розановым еще не написаны лучшие, главные его книги. – А. В.), другой

⁶⁵ Путь к слову. С. 47.

⁶⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 274–275.

⁶⁷ Пришвин о Розанове. С. 200.

⁶⁸ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 460.

⁶⁹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 543.

⁷⁰ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 545.

робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии, другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока... (...) Мой фантастический полет... Я говорил три часа подряд. Меня слушали, переспрашивали... Когда я сказал о том, сколько потеряло человечество, меня кочевой образ жизни на оседлый, Розанов сказал: это Ницше, Ницше... (...)

Так закончился мой петербургский роман с Розановым... В результате у меня книга его с надписью: «С большим уважением на память о Ельце и Петербурге». А когда-то он же сказал: из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени болела эта фраза в душе... Умер тот человек... Умер и я со всей остротой болей... Поправляюсь, выздоравливаю, путь виднее, все уравновешеннее... Но почему же жаль этих безумных болей... Выздоровливаешь и тупеешь»⁷¹.

Еще больше, чем этот странный финал, поражает другое: «Так закончился мой петербургский роман». Как же так? Почему закончился? Неужели им не о чем было больше говорить? Ведь и с Мережковским, и с Блоком, и с Ремизовым, и с Ивановым-Разумником, и с Волошиным, и с Горьким Пришвина связывали личные отношения, велась переписка, были встречи, а с Розановым, с которым, казалось бы, сам Бог велел ему дружить, ничего не вышло. Ни дружбы, ни писем, а ведь они жили в одном городе, состояли в одном обществе, имели общие интересы – религия, пол, семья, сектантство – и вопрос, почему так произошло, занимал Пришвина до самых его последних дней. Тем более что два ближайших Пришвину человека – Ремизов и Коноплянцев – были с Розановым в прекрасных отношениях.

В 1946 году, когда никто уже в Советском Союзе Розанова давно не вспоминал, Пришвин вопрошал в Дневнике: «Почему Розанов, А. Толстой, М. Стахович не хотели оставаться со мной наедине?»⁷² А через шесть (!) лет, в 1952-м, неожиданно вернулся к этой теме и дал себе ответ: «Понимаю (...) почему такие люди, как Розанов, А. Толстой, сторонились меня: они понимали, что я в себе человек и особенный, им не хотелось «возиться» со мной именно потому, что я не просто живу, а меня несет»⁷³.

Н. П. Дворцова, предполагая, что причины кратковременности близкого общения Пришвина с Розановым крылись в сложившейся форме отношений учителя и ученика, начинающего писателя и писателя «в славе», приводит две любопытные цитаты. Одну – розановскую, из «Опавших листьев», поразительно сближающую мировоззрение двух русских писателей: «Что-то стихийное и нечеловеческое. Скорее «несет», а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».

И другую – из книги А. М. Ремизова «Кукха», где учредитель «Обезьяньей Великой и Вольной палаты» пишет о реакции Розанова на неосторожные слова его жены: «Мы познакомились с Пришвиным: оказывается Ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии Вас козлом называли». Реакция была мгновенной и болезненной: «Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать. Как, противный мальчишка, опять!»

Пришвин же приводит в Дневнике эпизод, который, в сущности, стоит всех моих рассуждений: «Мне принесли большой портрет Розанова, сделанный с маленькой карточки, которая висела под большим портретом Курымушки. Портрет мне так понравился, что я переменял решение подарить его Т<атьяне> В<асильевне>, поставил его на полочку, а маленький снял с гвоздя для Т<атьяны> В<асильевны>. Через несколько часов в комнате у меня все переменялось: пока Розанов был маленький и висел под большим портретом мальчика, он возбуждал во мне любовь, жалость и чувство большого светлого примирения. Но когда портрет стал большим, я стал испытывать, встречаясь с ним глазами, все более и более неприятное чувство, как будто я опять вернулся в тот гимназический класс, из которого меня выгнали. Сегодня утром

⁷¹ Пришвин о Розанове. С. 164.

⁷² Пришвин о Розанове. С. 206.

⁷³ Пришвин о Розанове. С. 211.

я снял портрет большой, повесил маленький, и стало хорошо. А большой портрет сегодня же направлю Татьяне Васильевне»⁷⁴.

Написанная в Германии в 1923 году, четыре года спустя после смерти Розанова, «Кукха. Розановы письма» – это не мемуары, а сложная, прихотливая, нежная, почти что умилительная и своеобразная книга, посвященная феномену Розанова, помноженному на феномен Ремизова, включающая письма, записки, комментарии, размышления автора, полемику со Шкловским, только что выпустившим в Советской России книгу «Розанов»; это эмигрантская тоска и плач по погибшей стране и наконец трогательный, неподдельный разговор с самим Розановым, с его отлетевшей, но все слышащей душой, и воспринимать эту удивительную смесь как документальное свидетельство можно только с изрядной долей осторожности.

Что же касается конкретного эпизода, связанного с Пришвиным, то Серафима Павловна явно спровоцировала Розанова на грубость и дело здесь было совсем не в Пришвине. Между двумя петербургскими семьями, Розановыми и Ремизовыми, сложились по воле Розанова странные отношения. Василий Васильевич, проживавший в Большом Казачьем переулке, был довольно частым гостем в ремизовском доме в Малом Казачьем, но от жены не только эти посещения скрывал (говорил, что идет в «Новое время»), а напротив, уверял ее, что на Ремизова чрезвычайно сердит.

Варвара Дмитриевна (жена Розанова) по-соседски переживала и, поскольку две женщины были между собою дружны, заходила к Ремизовым и просила их «не сердиться на Васю».

Скрывал же свои посещения от жены Розанов потому, что на квартире у Ремизова происходили некие таинственные «сеансы», по-видимому, ярко выраженного эротического характера, вполне в духе «начала века», и на Розанова они производили очень сильное впечатление. Вот что писал он Ремизову 25 октября 1907 года (если только это опять-таки не мистификация): «Не буду приходить к Вам на сеансы. Все это моя распущенность, которую нужно воздерживать. Потом бывает на душе не хорошо. Само по себе я ничто в этой области не осуждаю: ни легкое "нравится", ни тяжелое "залез под подол". Но все хорошо в своей обстановке: и вот этого у меня и нет. Этот легкий полуобман, лукавство, черствость души – ах, как все это производит "душевный насморк"».

И далее следует речь о некоей девушке, участнице этого «сеанса», которая писателя взволновала и своей внешностью, и нравом.

«Как уже давно никто, она мне не давала покоя в воображении, и я все мысленно продолжал разговор с ней, начатый и неоконченный».

Письмо написано было в день, который ровно через десять лет войдет в историю как главное историческое событие XX века, а завтра Серафима Павловна отправилась к своей соседке спросить, как лучше «вставлять окна» (утеплять).

И хотя, как пишет Ремизов, «ничего особенно такого не произошло на "сеансе", Розанов вообразил, что Серафима Павловна пришла по-женски посплетничать о том, что происходит у Ремизовых на квартире во время "сеансов", и попытался нежданную гостью выпроводить, дескать, Варвара Дмитриевна неважно себя чувствует, но ничего у него не вышло, и тогда, уловив минуту, он попросил "не говорить ничего про вчерашнее!" Сели завтракать, разговор действительно пошел об окнах, от окон перешли к стирке и постирушке (тут Ремизов гениально пародирует, воссоздает розановскую любовь к семейному быту: "Стирка – это крупное белье, а постирушка – это платки, салфетки, так, мелочь всякая..."), хозяин совершенно успокоился, и вот тогда-то Серафима Павловна и подпустила свою женскую шпильку:

"– Да, – вспомнила С. П., – мы познакомились с Пришвиным: оказывается ваш ученик, он рассказывал, что в гимназии вас козлом называли".

⁷⁴ Пришвин о Розанове. С. 181.

Намек – совершенно очевиден (козел! – символ похоти), и понятно бешенство Розанова.
"– Как ты смеешь так говорить! Я с тобой не желаю разговаривать!"

И опять как в прихожей тогда.

– Вася, перестань, – вступилась В. Д., – мало ли что в гимназии! Разве можно сердиться!

Завтрак кончился, сидели так. В. В. все еще сердился.

– Ну давай помиримся! – и через стол протянул руку.

– Конечно, Василий Васильевич, ведь не я же вас козлом назвала!

– Как, противный мальчишка, опять! – и руку отдернул"».

Тут никак не обойтись без того, чтобы не сказать несколько слов об авторе этой провокации – самой Серафиме Павловне Ремизовой, урожденной Довгелло. Дама эта принадлежала к старинному литовскому роду, в молодости была членом партии эсеров (Пришвин язвительно называл ее неудавшейся Софьей Перовской), но при этом любила роскошь, была обходительна, умна, отличалась незаурядным и очень сложным характером, ее связывали личные отношения со многими литераторами, и пассивной ее роль в тогдашней литературной жизни назвать было никак нельзя. Она стремилась быть при своем муже тем же, кем была Гиппиус при Мережковском – совершенно самостоятельной личностью, но не тенью великого писателя. Если Бог не дал ей собственно литературного таланта, как Зинаиде Гиппиус, с которой она дружила, то умением привлечь, заинтересовать, заинтриговать самого непростого собеседника она была явно не обделена. Имя ее в Дневнике Пришвина встречается довольно часто, и по обыкновению писатель дает жене своего друга весьма противоречивые оценки, большей частью все же отрицательного свойства (так, Серафима Павловна для него принадлежит к «типу дев темных... в бездне гордости и лжи»⁷⁵), и в свете этих характеристик более отчетливо предстает описанный эпизод.

«Ремизова как человека нет совершенно: человек, должно быть, весь в Серафиме Павловне, она его поглотила и направила. Теперь она уговаривает его покончить с собой, а вслух мне говорит о бесцельности самоубийства, так как все равно потом будет продолжение. Что это такое? (...) И еще удивительно, что, несмотря на все ее внешние и внутренние достоинства, отчего-то при ней умерщвляется всякое чувственное влечение, как бы умираешь совсем, и в то же время понимаешь с высоты: какая-то твердыня неприступная с такой далекой снежной вершиной, что люди в долинах и в помыслах не смеют взойти наверх»⁷⁶.

Но самую убийственную характеристику Пришвин занес в Дневник в 1920 году: «Ей хотелось быть, а она никогда не была»⁷⁷.

А Ремизов ее любил и очень страдал, когда в 1943 году Серафимы Павловны не стало...

Но вернемся к нашим главным героям – Розанову и Пришвину. Итак, преодолеть прошлое не смогли ни тот ни другой.

Однако если следы присутствия Пришвина нигде в огромном розановском наследии не встречаются и Розанов, принеся извинения за давнюю историю, предпочел выкинуть бывшего и так странно объявившегося в Петербурге ученика из головы, оставив исключенному гимназисту на память о возобновленном и быстро прерванном знакомстве весьма двусмысленно звучащий в свете прихотливых отношений двух литераторов завет держаться подальше от редакций (по иронии судьбы, самого автографа Розанова с этим бесспорно розановским напутствием нет; сохранилась только в пришвинской библиотеке книга Розанова «О понимании» с экслибрисом Пришвина и написанными его же рукой словами: «Завет Розанова мне: – Поближе к

⁷⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 155.

⁷⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 39.

⁷⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.

лесам, подальше от редакций»⁷⁸), то Пришвин не переставал думать о нем в самые разные периоды своей насыщенной жизни.

Розанов, сам того не подозревая, был пришвинским демоном. Он преследовал его всю жизнь и влиял на его творчество необычайно, как никто другой – из декадентов и не декадентов: Ремизов, Мережковский, Блок, Гамсун... Он переболел ими всеми, и только Розановым был болен неизлечимо. С бывшим учителем, первым крупным писателем и мыслителем, повстречавшимся на его пути, Пришвин спорил, его отрицал, им восхищался, считал себя его продолжателем и последователем («Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение истории, вернее, разложение столь глубоко, что ближайший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать созидание»⁷⁹) – здесь была целая гамма оттенков и настроений, и, как бы ни был он сильно им задет, всегда прекрасно и глубоко его чувствовал, сознательно или нет усваивая его стилистику и художественные приемы, и читатель этой книги еще не раз ощутит явное или сокрытое присутствие Розанова.

Вот что писал об этих двух писателях Р. В. Иванов-Разумник: «Влияние В. Розанова на М. Пришвина несомненно; но оно частично. Оба они ненавидят «черного бога»: но для В. Розанова непреложно, что Черное Солнце монашества и есть истинный Христос, он это понял «сразу до ниточки, до последнего словца...». М. Пришвин этого о себе никогда не скажет. И он ненавидит черного бога, но никогда он не отождествит монашеского христианства со Христом. Различна и их любовь: В. Розанов входит в космическое только в точке «пола» – и здесь он единственный в своем роде апологет «святой плоти»; для М. Пришвина «святая плоть» – только частность религии Великого Пана; ему не надо входить в космическое – он уже в нем»⁸⁰.

Не случайно в более поздних пришвинских дневниковых записях, содержащих жестокие критические самооценки, – «Вчера в постели, перед тем как заснуть, я внезапно понял всю жизнь со времени возвращения из Германии и до встречи с Л. как кокетливую игру в уединенного гения, как одну из форм эстетического демонизма»⁸¹ – особенно замечателен будет зачин, совершенно розановский, только у Василия Васильевича было бы: «Я внезапно понял...», а потом, в скобочках, приписка: «в постели, перед тем как заснуть».

Они более не встречались, но Пришвин видел Розанова во сне, эти сны записывал в своем Дневнике и им доверял то, что не мог высказать прямо.

«Снилось, что я будто бы у священника Алекс. Петровича Устьянского⁸² и мы с ним решаем, что у него на даче в это лето будут гостить Лев Толстой и Розанов. С этим поручением я являюсь к Розанову. Вас. Вас. сидит за столом и с необыкновенно гаденьким видом показывает кому-то порнографическую картинку, уснащая глубокомысленным замечанием религиозного содержания. Меня встречает неприязненно, я объясняю ему о даче, но забываю фамилию Устьянского. «Что же это такое?» – изумляется он.

«Да я, – говорю, – единицы за это в гимназии получал, что вдруг самое главное и очень мне известное забуду». И в эту минуту сам себя вижу: лоб очень большой у меня, бугреватый, лоснится и не помнит ничего.

Мой роман с Розановым»⁸³.

⁷⁸ Пришвин о Розанове. С. 217.

⁷⁹ Пришвин о Розанове. С. 185.

⁸⁰ *Иванов-Разумник Р. В.* Великий Пан // Творчество и критика. Пг., 1922. С. 45–46.

⁸¹ *Пришвин М. М., Пришвина В. Д.* Мы с тобой. Дневник любви. М., 1996. С. 279.

⁸² Старорусского (а затем новгородского) протоиерея А. П. Устьянского Розанов необыкновенно высоко ценил: «Как я люблю его, и непрерывно люблю, этого мудрейшего священника наших дней, – со словом твердым, железным, с мыслью прямой и ясной» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. С. 43). Пришвин же написал о нем рассказ «Отец Спиридон».

⁸³ *Пришвин М. М.* Дневник. Т. 3. С. 119.

Роман был безответным, и это Пришвина мучило, но чем взрослее писатель становился, тем более снисходительным по отношению к Розанову делался (и не только по отношению к Розанову, но ко всей давнишней истории).

Порою подражание Розанову носило формы очень болезненные. В конце тридцатых годов к Пришвину повадился ходить за уроками литературного мастерства молодой писатель А. А. Шахов, пытавшийся писать в той же манере, что и Пришвин. Михаил Михайлович довольно жестко его критиковал и однажды в конце очередной беседы, посмотрев прикусившему губу прозаику прямо в глаза, совершенно по-розановски почти теми же словами, что когда-то подкосили его самого, отрезал:

«– Из вас не выйдет писателя»⁸⁴.

Любопытно, что в Дневнике 1940 года Пришвин отозвался об этом эпизоде следующим образом: «Приходила моя Обезьяна (Шахов. – А. В.), и я почувствовал, что перед кем-нибудь, стоящим духовно выше меня, я, претендующий на какую-то роль через свой талант, тоже являюсь подобной же обезьяной»⁸⁵.

В то же время поэту Виктору Бокову, которому писатель явно симпатизировал, Пришвин написал на подаренном томе сочинений: «Моему литературному ученику с заветом моего литературного опекуна "Поближе, Пришвин, к лесам, подальше от редакций"»⁸⁶.

Начиная с азиатского побега и до конца своих дней, Пришвин был великим жизнотворцем и мистификатором, сделав себя главным героем своих произведений, он не просто описывал свою жизнь, но выстраивал ее как роман. И жизнь ему блестяще подыгрывала: как поразило его то обстоятельство, что в 1914 году ему предстояло решать на заседании Религиозно-философского общества вопрос об исключении(!) из общества самого Розанова, каким внутренним торжеством было для него назначение на должность учителя географии(!) в елецкую гимназию, откуда его когда-то выгнали, в 1918 году, с каким странным чувством бродил он по запущенному кладбищу в Сергиевом Посаде, где похоронен Розанов⁸⁷, а потом писал Горькому, что розановская могила словно шило в мешке, как напряженно размышлял в середине двадцатых о судьбе дочери Розанова Татьяны Васильевны, наконец купил у нее письменный стол отца и за этим столом работал⁸⁸.

Пришвин был не одинок в стремлении превратить в свое «автобиографическое пространство» окружавший его мир и в этом смысле, подобно многим из окружавших его литераторов, был декадентен, эгоистичен и субъективен: он творил свою судьбу и был более всего этим мифотворчеством озабочен, но что-то спасало его прозу от крайнего субъективизма, что-то удалось ему нащупать и выразить глубоко личное, и от Розанова он научился главному – безжалостности к себе, которую он и назовет творческим поведением. Так же и к другим, но к себе – прежде всего. Даже внимание к окружающему миру – это, скорее, внимание к своим ощущениям и переживаниям, – отсюда выдвижение себя в качестве главного героя, вызывавшее упреки в бесчеловечности, «ячестве», самолюбовании, большей частью несправедливые и основанные на недоразумении.

Быть может, именно споря с Розановым, он напишет в Дневнике последних лет: «Спасся я от них (декадентов. – А. В.) скорее всего не искусством, а поведением»⁸⁹.

«Из тебя что-то выйдет», – сказал маленькому Курымушке учитель географии и гениальный писатель.

⁸⁴ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 179.

⁸⁵ Мы с тобой. С. 57.

⁸⁶ Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 109.

⁸⁷ И сегодня именно благодаря плану, сделанному Пришвиным, мы знаем, где находится могила Розанова.

⁸⁸ Теперь этот стол украшает экспозицию Орловского государственного литературного музея.

⁸⁹ *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 591.

«Это, конечно, поэзия, но и еще что-то», – охарактеризовал одну из первых пришвинских книг Александр Блок.

Вот это «что-то»⁹⁰, эта неопределенность мучила писателя если не всю жизнь, то добрую ее половину, дух победы и поражения в нем боролись, смущали и искушали его, и в пришвинской натуре настаивалась, вызревала упрямая и гордая воля, столь необходимая писателю для того, чтобы воплотить свой дар.

История взаимоотношений Пришвина с Розановым не закончилась со смертью Василия Васильевича, и вот еще одна поразительная деталь: дата смерти Розанова по старому стилю совпадает с днем рождения Пришвина – 23 января. Именно этот день всегда отмечал Пришвин как свое рождение, и ту же дату как день памяти Розанова называет в своих воспоминаниях его дочь: «Было около 12 часов дня, четверг 23 января ст. стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз я»⁹¹. Это же число в своем письме к Нестерову называет П. А. Флоренский. По новому стилю даты расходятся на один день: 4 февраля – день рождения Пришвина, 5-го – день смерти Розанова, и дело тут в том, что разница между григорианским и юлианским календарями в XIX веке составляла 12 дней, а в XX – 13.

В 20-е годы в Загорске Пришвин познакомился с младшей дочерью Василия Васильевича Татьяной Васильевной и пережил своеобразный духовный роман. Было бы заманчиво увидеть тут параллель с самим Розановым, который когда-то женился на Аполлинарии Сусловой, потому что она была любовницей Достоевского, однако отношения Пришвина с Розановой были совершенно иного рода, и даже Ефросинья Павловна (жена Михаила Михайловича) относилась к ним совершенно спокойно. «Очень некрасива, невзрачна, – писал Пришвин о Розановой, – но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф<росинья> Пав<ловна> ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют»⁹².

Пришвин ощущал родство с Татьяной Васильевной, потому что «у этой девушки и у меня силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем».

Именно ей читал он в 1927 году уже опубликованного «Курымушку» – первое звено «Кашеевой цепи».

Однако и здесь есть своя неясность.

«27 марта. К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевна>, и я читал ей «Курымушку». Под конец пришла Григорьева и помешала. Т<атьяна> В<асильевна> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожественное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке»⁹³.

⁹⁰ Поразительна любовь Пришвина к этому неопределеннейшему из всех русских местоимений. В 1933 году в статье «Мой очерк» с подзаголовком «биографический анализ» он напишет: «Начиная от своего первого очерка «В краю непуганых птиц», кончая очерком своей жизни «Кашеева цепь» и книгой «Журавлиная родина», Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то». В 1942 году: «...это что-то у Розанова и через него передалось мне, и не по существу, как у него, а по невозможному моему обезьянству» (Пришвин о Розанове. С. 201). А в 1949-м – о Розанове же – «...что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать)» (Там же. С.207). «Обезьянство» – и есть ключевое слово для характеристики пришвинской зависимости от Розанова. Отсюда и пожизненная задача Пришвина – освободиться от него.

⁹¹ Воспоминания Т. В. Розановой // Русская литература. 1989. № 4. С. 166.

⁹² Пришвин о Розанове. С. 179.

⁹³ Пришвин о Розанове. С. 180.

Но два дня спустя произошло неожиданное:

«31 Марта. Розанова вернула «Кашееву цепь», и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама занесла бы книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит»⁹⁴.

А вот отрывок из воспоминаний Т. В. Розановой: «В это время (после разрыва с Аполлинарией Суловой. – А. В.) отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись, особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения, его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там работал и уже явился к нам в квартиру с рюкзаком и женатым. Он принес свою первую книгу «За волшебным колобком» и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в провинции». Отец сдержал слово, поместил в «Новом времени» похвальную рецензию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее Пришвин написал роман «Кашеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и также фотографический снимок с пелены препод<обного> Сергия, которая находится в государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске.

Фотографии эти до сих пор висят у меня в комнате»⁹⁵.

В этих воспоминаниях довольно много фактических ошибок. Во-первых, Сулова оставила Розанова не в Ельце, а в Брянске («Я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как моя жизнь там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии»⁹⁶), и случилось это в 1886 году («Первый мой брак был заключен зимою 1881 года, длился до августа 1886 года, все время был несчастный»⁹⁷), так что в грехе травли ославленного на весь город, морально убитого человека Пришвин не виновен. Во-вторых, «Колобок» не был его первой книгой, в-третьих, Пришвин никогда не был в Америке, да и про розановскую рецензию в «Новом времени» ничего не известно. И все же отношение дочери Розанова к Пришвину очевидно...

Много лет спустя после смерти обоих участников многолетнего и такого плодотворного противостояния две женщины, напрямую с ними связанные и бережно хранящие о близких им людях память, предприняли попытку протянуть друг другу руку.

В конце шестидесятых годов между Валерией Дмитриевной Пришвиной и Татьяной Васильевной Розановой завязалась переписка, и, хотя формальным поводом к ней послужила судьба того самого розановского письменного стола, который приобрел когда-то Пришвин, связана она была прежде всего именно с «Кашеевой цепью», и обеим корреспонденткам требовалось немалое мужество, чтобы коснуться этой темы.

В. Д. Пришвина писала Т. В. Розановой: «Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве.

Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца!

⁹⁴ Пришвин о Розанове. С. 181.

⁹⁵ Русская литература. 1989. № 4. С. 170.

⁹⁶ Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.

⁹⁷ Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.

Особенно «Кашееву цепь». Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства (...) Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души (...). М. М. никогда не останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».

Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».

И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать...»

Читала или не читала, действительно ли Пришвин сожалел о написанном и почему в таком случае не внес в роман, над которым работал до последнего дня, соответствующих изменений – как решить это новое противоречие в запутанной пришвинско-розановской истории, теперь уже не скажет никто. Видимо, все-таки что-то читала и принять написанное об отце не смогла... И, видимо, Пришвин отказываться от романа не стал – «еже писах, писах...».

Наверное, там, за чертой смертного пробега, учитель и ученик встретились и договорили все, что не успели и не смогли сказать друг другу здесь:

«Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби», – писала Т. В. Розанова⁹⁸.

Чем крупнее и масштабнее писатели-современники, тем драматичнее их отношения. Но в истории литературы они останутся рядом: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все...»

⁹⁸ Пришвин о Розанове. С. 212.

Глава IV. Пришвинские университеты

Слишком увлекшись этим занимательным сюжетом, мы далеко забежали вперед, и теперь нам предстоит вернуться в конец XIX века, где в зародыше скопились истоки бед века XX. Неизвестно, как сложилась бы пришвинская судьба в его зеленые годы и состоялась бы последующая встреча не только с Ремизовым и Розановым, но и со всей литературной богемой Российской империи, стал бы он писателем или нет, если бы в 1889 году старший брат его работающей матушки сибирский судовладелец Иван Иванович Игнатов (тот самый храбрец и кутила, что предостерегал отрока Михаила держаться поумнее и не хвалиться безобразиями и робел перед будущим царем-мучеником) не предложил племяннику переехать в Тюмень. А в вольной Тюмени, ныне сделавшейся одним из центров пришвиноведения, тем более с таким дядей, все было можно, в том числе волчебилетнику – учиться.

Хотел ли шестнадцатилетний мальчик туда ехать, с каким чувством покидал он родной дом, как расставался на несколько лет с матерью и братьями, хорошо ли жилось ему с мало-знакомым и очень непростым родственником в чужом краю, остается неизвестным. Однако для духовного роста этот период его жизни дал чрезвычайно много, начиная с дороги из Ельца в Сибирь. Это было его первое по-настоящему большое путешествие, причем путешествие в Азию, то есть практическое воплощение недавней мечты, и по пути Пришвину встретились люди, которые сыграли в его жизни большую роль. Это и сектанты, направлявшиеся в град Китеж – по их тропинке Михаил Михайлович через несколько десятков лет пройдет и сам, и скрывавшиеся от полиции революционеры, с которыми он столкнется еще раньше, и так получит воплощение важнейший пришвинский мотив – сектанты как революционеры и революционеры как сектанты.

Да и сам Иван Иванович был фигурой! Судя по воспоминаниям другой его племянницы, Т. И. Коншиной, то был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очаровательный прожигатель жизни», он славился своими неординарными поступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сблизало его с пришвинским отцом. Только, в отличие от несчастливца в азартных играх и слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравшись и спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему друг, пришвинский дядя Ваня не впал в отчаяние, а, дав себе зарок не брать в руки карты, пока не отыграется, уехал в Сибирь. Там он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным бизнесом и с годами сделался настоящим воротилой (сюжет русской литературе знакомый – см. Мамина-Сибиряка или Вяч. Шишкова, может быть, поэтому Пришвин и не стал его разрабатывать), но не переставал интересоваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, собрал большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные часы, увлекался охотой, любил сухое шампанское, которое звал «сек», часто бывал высокомерен и жесток, одних людей привечал, а других преследовал и оставил у всех знавших его воспоминания противоречивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду.

Видимо, своенравный племянничек пришелся ему по сердцу – во всяком случае, в своем романе, старательно затушевывая негатив и лишь слегка, почтительно над дядюшкой посмеиваясь, Пришвин создал образ настоящего сибирского романтика, повадками похожего на американского пионера с русскими корнями.

Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами»), и поразительно, но в тюменском Александровском реальном училище Пришвин оказался, по свидетельству Валерии Дмитриевны, едва ли не первым учеником. Она, разумеется, ничего не сочиняла и во всех своих высказываниях опиралась

на его поздние несколько приукрашенные воспоминания и устные рассказы. Сам же он в 1918 году писал о тюменских успехах скромнее: «Учился в реальном не увлекаясь, ни хорошо, ни плохо»⁹⁹ (в более поздние годы самооценка, видимо, завысилась¹⁰⁰), но как бы там ни было – очевидно, что прежних проблем с учебой не было – или же уровень подготовки других учеников был существенно ниже. А может быть, он сам сильно изменился, вырос либо боялся повторения старой истории – а из Сибири куда бежать? – смирил гордыню и самолюбие. И если поначалу «ему казалось, что в новой гимназии его примут как героя, пострадавшего за дело товарищей», то со временем его «сердце начало на хорошем человеке крепко завязывать свои узелки, и, как испытывавшему голод вдруг оказался слаще сахара черный хлеб, так и обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку» и – продолжу цитату из набросков к «Кашеевой цепи» – «Алпатов бросился всех догонять, чтобы непременно кончить гимназию, в университет попасть и быть как все»¹⁰¹.

Похоже, что ситуация с елецкой гимназией, где недоучились в одно и то же время два крупнейших русских писателя и откуда сбежал с учительской кафедры третий, говорит не в ее пользу. Вероятнее всего, мальчику просто следовало поменять школу и все наладилось бы – и не имели бы мы тогда великого писателя, – но гимназия в Ельце была одна-единственная.

Пришвин окончил реальное училище только в 1892 году. Ему исполнилось в это время девятнадцать лет – возраст совсем не маленький, тут сказало двойное второгодничество – и юноша торопился наверстать упущенное. «Самый высший» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красноуфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промышленного училища, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тюмень «с погонями и танцевать как студент!».

В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек переехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу (но какова география перемещений!) в политехникум и поступил на химико-агрономическое отделение.

Валерия Дмитриевна полагала, что на выбор факультета повлияли два обстоятельства. Во-первых, желание приобрести прочные знания, чтобы помогать матери в ведении хозяйства, а в дальнейшем и самому им заниматься, и, во-вторых, «заменить таинственной наукой Бога, с детской верой в Которого еще в четвертом классе гимназии мальчику «приходилось расставаться» с помощью его старшего товарища Николая Семашко»¹⁰².

В наброске к автобиографии Пришвин отметил: «В Риге меняю разные факультеты в поисках "философского камня"»¹⁰³.

А позднее в рассказе-воспоминании «Большая звезда» предположил, что «выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству», на дрожжах коего он вырос.

Так получилось, что самое достопримечательное из того, что с Пришвиным в ту пору происходило, если только не считать овладения немецким языком (в Риге преподавание велось на немецком), – было его увлечение великим детищем германского ума и счастливым соперником русского народничества – марксизмом.

⁹⁹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

¹⁰⁰ На самом деле это еще один пример если не сознательной мистификации, то смешения автобиографии и автобиографической прозы. В 1923 году, в одном из набросков к «Кашеевой цепи» читаем: «А он-то – дурак, дурак! – потратил три года неустанного труда и одиночества, чтобы сделаться первым учеником и получить золотую медаль(...)» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 38). И если уж совсем точно следовать букве истории, то в училище по успеваемости Михаил Пришвин был пятым учеником, но при этом имел «3» по поведению, и причина столь низкой оценки – «непосещение церковных служб» (Пришвин и современность. С. 203).

¹⁰¹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 25.

¹⁰² Путь к слову. С. 53.

¹⁰³ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.

Ничего ни оригинального, ни экстраординарного в том не было. Марксизм в те годы был банален и обязателен, как подростковые прыщи: вирусом зловредного учения (замечательно, что слово «вирус» использовал и Пришвин, говоря об истоках русской революции: «Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние»¹⁰⁴) были заражены почти все учебные заведения России. Через это искушение, по пути от «марксизма к идеализму» прошли многие русские умы. Достаточно вспомнить философов Булгакова, Бердяева, П. Струве, С. Франка, Г. Федотова, писателя Алексея Михайловича Ремизова, поэта Эллиса (Льва Кобылинского), доброго пришвинского знакомого критика Р. В. Иванова-Разумника, а еще Замятина, Горького – многих.

Но размышляя над особенностями своей судьбы, Пришвин находил увлечению молодости и другое, личное объяснение. Исключенный из гимназии самолюбивый мальчик стремился «не отстать от других и быть как все».

А десять с лишним лет спустя сделал к этой истории новое добавление: «Раньше было все вне меня «да» и внутри «нет» – я неудачник, теперь стало внутри меня «да», а вне меня «нет». Теперь мир вне нашей партии стал неудачником и мы вполне верили, что нам суждено его переделать, что и он переменится, как и Бебель в то время писал, что всемирная катастрофа настанет еще при нашей жизни»¹⁰⁵.

На протяжении долгих лет жизни Пришвин много раз обращался к революционному сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жертвенной борьбы за лучшую жизнь до горького признания, что был он шпаной среди шпаны.

Посреди этих противоречивых высказываний располагаются и такие:

«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями» (...) «Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и проросло: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал неученье – "Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата"»¹⁰⁶.

К слову сказать, Бунина, так же как и Пришвина, покинувшего гимназию и даже не учившегося в университете, все эти искушения совершенно миновали (несмотря на то, что в кружок самых завязанных радикалов входил его брат Юлий, у которого он тогда жил), и он остался спокойным и холодным их наблюдателем: «Все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево, все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение в перевороте, в конституции или республике...» («Жизнь Арсеньева»).

Был ли Пришвин, как раз в те годы или чуть позднее участвовавший в революционном движении, одним из таких людей?

И да, и нет.

Пришвинский марксизм был особого рода, и причины его коренились очень глубоко. Пришвин, как уже говорилось, родился в семье с хотя и размытыми, но все же не исчезнувшими старообрядческими традициями. Русские старообрядцы при всей своей неоднородности составляют этнос, уже почти три столетия живущий в ожидании скорого конца света, так что мальчик вырос в апокалиптической атмосфере. Марксизм и апокалиптицизм – смесь, которая может подорвать и разрушить что угодно, и именно на эту благодатную почву эсхатологического ужаса и упали марксистские семена и прежде всего книга Августа Бебеля «Женщина

¹⁰⁴ Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М., 1995. С. 185.

¹⁰⁵ Пришвин М. М. Дневник 1936 года // Октябрь. 1993. № 10. С. 11.

¹⁰⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 229.

и социализм», которую в революционном кружке молодому студенту доверили переводить с немецкого на русский, что он и кинулся исполнять с «пожаром в душе», и так сомкнулись начало и конец, а вернее – и это очень существенно – конец и начало:

«У Бебеля был поставлен вопрос о всемирной катастрофе при нашей жизни. С этим чувством конца у вождя германского пролетариата пробуждалось наследственное чувство конца от староверов, предков моих по матери. Концом мира меня с детства пугали, и вот теперь этот конец сделался началом новой жизни»¹⁰⁷.

Позднее Пришвин недоумевал: «Теперь, просматривая Бебеля, понять не могу, с чего же именно взялся тот огненный энтузиазм, с которым я перевел эту вовсе не блестящую книгу. Я думаю потому, что вместе с женским вопросом вставала и решалась труднейшая для юноши этическая проблема (...) Никакой поэзии не было в книге «Фрау унд Социализм», но для меня книга пела как флейта о женщине будущего... Да, это, конечно, было: в тайне души своей я стал проповедовать марксизм, имея в виду грядущее царство будущей женщины»¹⁰⁸.

А чуткая В. Д. Пришвина пишет об этом так: «Его поразила тогда вычитанная у Бебеля картина всемирной катастрофы, которая должна была вот-вот совершиться, еще при нашей жизни. Концом мира мальчика пугали с детства, может быть, это шло еще от староверов, его предков, как «наследственное чувство». И вдруг этот неминуемый страшный конец у Бебеля становится началом новой жизни!»¹⁰⁹

А вот признание самого Пришвина, сделанное им в 1937 году: «Это чувство потери интереса к повседневной работе ввиду мировой катастрофы было основным чувством студентов-революционеров нашего времени. Тысячи всяких возможных инженеров бросили из-за этого свое учение и стали подпольными людьми. Это чувство родственно и староверческому «концу света», и пораженческому, и может быть, «мировая скорбь» того же происхождения (ввиду чего-то большего не хочет делать малое). Но в этом и выросла русская интеллигенция и весь ее нигилизм»¹¹⁰.

Как именно его пугали, вспоминает Алпатов в тюрьме: «...он пришел к идее мировой катастрофы от сердца своего.

В раннем детстве он слышал чей-то голос, строго предупреждающий: "Деточки, деточки, по краюшку ходите, затрубит архангел, загорится земля и небо"».

Пикантность этой неразрешимой философской ситуации заключалась в том, что марксистское действие имело место на Кавказе, на родине товарища Сталина в городе Гори, куда студенты выехали, говоря современным языком, на практику (их не то послали, не то они добровольно поехали туда для борьбы с вредителем виноградников – филлоксерой, занесенной в Россию из Европы болезнью – очень неслучайная, символическая даже, согласимся, подробность), и по утрам молодежь сидела с лупами и рассматривала корешки виноградной лозы, а в остальное время – за столом с бурдюками вина и яростно спорила о...

Всего, о чем могли спорить тогдашние разгоряченные молодые люди, не перечислить, но то, что Мишу политически и духовно совратили (об ином совращении и речи быть не могло: «Не говоря друг другу ни слова, мы дали в душе обет безбрачия и целомудрия... мы были настоящие монахи»), не вызывает сомнения.

«Помню большую веранду, где мы пили вино и вели свои споры, огромное дерево орех, под которым праздновали с грузинами и пили много вина»¹¹¹, – писал он.

¹⁰⁷ Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.

¹⁰⁸ Путь к слову. С. 57.

¹⁰⁹ Путь к слову. С. 57.

¹¹⁰ Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». Из Дневников 1931–1952 гг. // Наше наследие. 1990. № 2. С. 68.

¹¹¹ Путь к слову. С. 56.

Все это было легкомысленно ужасно, но вовсе не смешно. Двадцать лет спустя, когда революционные кавказские грезы обернулись чудовищной елецкой действительностью, военным коммунизмом, диктатурой пролетариата и Гражданской войной, подводя итог своим духовным исканиям в молодости, Пришвин писал: «Душевный состав мой накануне уверования в социализм: семейная оторванность, глубочайшее невежество, с грехом пополам оканчиваю реальное училище, смутные умственные запросы, гнавшие меня с факультета на факультет, какая-то особая ежедневная вера, что чтением какой-нибудь книги я сразу все себе и разрешу. Так я взялся за химию как за алхимию и плохо делал анализы, в то же время читал Менделеева страстно, и если бы меня спросили в это время, какая будет у меня жена, я сказал бы, что она несомненно будет химиком... Смутное ощущение какой-то своей гениальности: я не такой, как все, вот я пойду, ухвачусь за что-то и покажу себя и все переверну, тайный невыраженный романтизм, страдание оттого, что не могу быть, как все (особенно в половой сфере), черты полной дикости (чрезвычайная робость, застенчивость в отношении к женщине). Уверование и поведение после этого: решение государственных вопросов. Постепенное разжижение веры за границей, склонность к родному (агрономия – < нрзб>), к эсерству – окончательный переворот, сумасшедшая любовь и поворот мира с умственности на психологичность: открытие полюса. Жизнь, возрождение... Внимание к человеческой душе...»¹¹²

А еще позднее, собираясь ровно через сорок лет второй раз в жизни на Кавказ по приглашению первого секретаря обкома Кабардино-Балкарии, шестидесятитрехлетний признанный писатель снова вспомнил свою революционную молодость в свете противостояния двух партий, марксистской и народнической – мотив, который вошел в «Кашееву цепь», но помимо этого нижеследующая запись хороша именно как своеобразное дополнение к юности героя, да и вообще ко всему роману его воспитания.

«В начале этих споров я был на стороне народников, но с каждым днем все больше и больше уступал марксистам. Теперь психологическую сущность происходящего во мне процесса я понимаю так: в душе постоянная тревога о том, что семья, где я вырос, не такая, как мне хотелось бы – не настоящая. Гимназия не дала мне правильного образования – не настоящее мое образование, и сейчас я химик по недоразумению: студент я ненастоящий. И так во всем, везде мне все нет и нет.

Революционная молодежь на Кавказе мне сразу пришлась по душе: вот это «настоящее» – сразу подумал я, и оставалось только мне самому определиться между марксистами и народниками. Мне народническая задушевность, внимание к личности ближнего, интерес к биологии были близки человечностью, но марксисты меня соблазнили верой в знания, готовностью к определенному и немедленному действию, и главное, что это были все удалые ребята – жить собирались, а народники расплывались в слова. Я попал в группу марксистов и был направлен на расследование виноградников в Гори. Так родина Сталина сделалась родиной моего марксизма, принесшего потом мне много беды»¹¹³.

И еще одна интересная подробность: «Помню каких-то грузинских детей, которые учили меня танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке сам Сталин. Помню несколько молодых людей из грузин, вовлеченных в наш кружок»¹¹⁴.

Об отношении Пришвина к Сталину речь пойдет позднее, а теперь вопрос читателю. С чего начали они свою революционную деятельность? С террористических актов, с «экссов», с пропагандистской работы, семинаров, организации забастовок и рабочих демонстраций, издания газет или листовок? Ничего подобного! – они стали громить публичные дома, с которыми

¹¹² Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 74.

¹¹³ Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.

¹¹⁴ Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.

у закомплексованного юноши были свои счеты (см. «Кашееву цепь», а также главу «Дух и плоть» в этой книге). И занудный марксизм с его прибавочной стоимостью и пролетариатом, которому нечего терять, здесь, кажется, ни при чем.

«Вспоминаю, разбираю и думаю, что значит, в этом видимом на поверхности интеллектуализме «Капитала» были и сексуальные проблемы внутри с культом женщины будущего»¹¹⁵, – писал он позднее.

Теоретически у юноши был шанс сделать партийную карьеру, как сделал ее, например, Николай Семашко (правда, будущий нарком медицины был племянником Г. В. Плеханова, хотя мы не можем утверждать, что это как-то на его карьеру повлияло), он завел знакомство с известными в революционном мире людьми и среди них с «блондином с бритыми щеками и небольшой бородкой, лысым, с хорошим черепом», Василием Даниловичем Ульрихом, на дачу которого его привел другой марксист по фамилии Горбачев, вовремя вытащивший юного Михаила из воды после неудачного купания в Рижском заливе. И все же, несмотря на все эти фантастические совпадения и явно неслучайные обстоятельства, даже в «Кашееву цепь» не вместившиеся, что-то его в этом мире не устроило, что-то не сложилось у него с революцией. Может быть, потому, что марксизм у него был никакой не научный, не правильный, а фантастический, религиозный, слишком искренний.

В жестокой «не то секте, не то семье, не то партии с бесконечной преданностью этому коллективу и готовностью для него во всякое время принести себя в жертву», Пришвин сравнивал себя с Петей Ростовым («Я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе... доверчив, влюбчив в человека...»¹¹⁶) и, как Петя Ростов, если не погиб в бою, то по меньшей мере испил свою чашу страданий в камере одиночного заключения Митавской образцовой тюрьмы, куда попал в 1897 году, пойманный при переноске нелегальной литературы.

И опять сказалось пришвинское-прасольское. Подобное событие – арест одного из сыновей – случается и в бунинско-арсеньевской семье (арестован был старший брат Алеши Арсеньева Георгий, прототипом которого послужил брат Ивана Бунина Юлий). В этом смысле любопытно сравнить два описания схожих событий, вернее, реакцию старшего поколения на «шалости» детей.

У Бунина:

«Событие это даже отца ошеломило. Теперь ведь и представить себе невозможно, как относился когда-то рядовой русский человек ко всякому, кто осмеливался «идти против царя», образ которого, несмотря на непрестанную охоту за Александром Вторым и даже убийство его, все еще оставался образом «земного бога», вызывал в умах и сердцах мистическое благоговение. Мистически произносилось и слово «социалист» – в нем заключался великий позор и ужас, ибо в него вкладывали понятие всяческого злодейства. Когда пронеслась весть, что «социалисты» появились даже и в наших местах, – братья Рогачевы, барышни Субботины, – это так поразило наш дом, как если бы в уезде появилась чума или библейская проказа». А вот та же самая ситуация в семействе Алпатовых: «Почти с таким же благодушием она (мать Курымушки. – А. В.) уже давным-давно принимала вести о студенческих бунтах; всякий серьезный юноша, по ее пониманию, непременно должен был побунтовать, чтобы сделаться потом вполне развитым человеком. И когда на ее глазах ее Миша начал заниматься политикой, ей хотя и показалось, что он взял чересчур серьезную ноту, все-таки она видела в этом что-то хорошее и необходимое. Но когда весть дошла, что Миша арестован по-настоящему и как серьезный бунтарь даже отправлен куда-то не то в крепость, не то в образцовую тюрьму, она очень взволно-

¹¹⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 290.

¹¹⁶ Путь к слову. С. 60.

валась. Скоро, однако, со всех сторон она стала получать выражение сочувствия и понемногу успокоилась. Все либеральные люди говорили:

– Глухая, мрачная эпоха, только молодежь и выносит все на себе».

Тюрьма есть тюрьма. Как и о старой гимназии, теперь, после ужасов ГУЛАГа, к тому же зная о нынешнем состоянии мест лишения свободы, мы читаем о пенитенциарных порядках бывшей империи чуть ли не с умилением: никакого подавления личности, ни унижения, ни пыток, ни мучений, даже просьбу молодого нигилиста перевести его из полутемной камеры в ту, откуда было видно небо и закаты, выполнили! Разве что отказал начальник тюрьмы передать ему книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому что «английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной».

И все же узнику было там крайне тяжело, одиночество на него давило и трудно было поверить, что когда-нибудь все это кончится. Он вспоминал, как в детстве его однажды в шутку во время игры придушили подушкой и как в эти несколько мгновений небытия он пережил смертельный черный ужас, который вернулся теперь, и «ему мелькнуло в безумии – разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее – разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро». Страшно смотреть на стену – «стена соблазняет», страшно на окно – и «окно соблазняет». Здесь словно рушилась его мечта и терялась обманная цель его бессмысленной жизни: «Хотел освободить людей от Кашеевой цепи, а вместо этого сам разбил себе голову».

Вот почему странно читать в статье Н. Замошкина, хорошо Пришвина знавшего и им ценимого (его сочувственно цитирует В. Курбатов): «Никто никогда еще так радостно и здорово не изобразил жизни человека, лишённого свободы»¹¹⁷. Странно, если только не учитывать, что написано это было в 1937 году и Пришвин в одной из дневниковых записей советского времени обронил, что царская тюрьма спасла его от тюрьмы пролетарской.

Не сойти с ума – вот была его задача, и спасение к нему приходит – он вообразил себя путешествующим к Северному полюсу и высчитывал, сколько раз должен пройти по диагонали камеры, чтобы достичь заветной точки. А позднее, в разговоре со случайной знакомой, гордо констатировал: коль скоро вышел из тюрьмы невредим, значит, достиг полюса¹¹⁸.

Освободившись, Пришвин уехал в Елец – ему было запрещено в течение трех лет жить в университетских городах. Он хлопотал о разрешении выехать за границу, а пока что обитал в доме своего гимназического товарища А. М. Коноплянцева на Бабьем базаре, зарабатывая на хлеб частными уроками (их ему охотно, из сочувствия, поставляла местная интеллигенция) и, судя по воспоминаниям окружавших его в ту пору людей, очень недурно проводил время: дурачился, лазал домой через окно, играл на мандолине и пел серенады «О, Коломбина, я твой верный Арлекин...», а много позднее о себе написал: «Какой я был бездельник и пустой человек, откуда же потом все взялось? Ведь буквально из ничего (...) Был Семашко, был Илья Волуйский, Семен Маслов, и у всех у них что-то было, но у меня, как сравнишь то время и себя, ничего не было...»¹¹⁹

Но все же в его душе в ту пору свершилось нечто очень важное. Он приехал в Елец еще марксистом и неделя за неделей, месяц за месяцем все дальше и дальше уходил от революционного дурмана, готовя себя к началу другой, еще неведомой жизни. Марксизм его ломался изнутри, неспешно, нехотя, и в «Кашеевой цепи» очень искусно, художественно показано,

¹¹⁷ Цит. по: Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 24.

¹¹⁸ Образ этого полюса, как некоего идеала, который может быть достигнут, образ реализованной мечты в пришвинской философии чрезвычайно важен. Ср. также дневниковую запись 1905 года: «Фрося говорила, что она всех понимает, но во мне не понимает что-то последнее... И я сам этого не понимаю. Это последнее похоже на северный полюс, куда нельзя добраться. Там, может быть, ничего нет, пустая точка... И мне хочется стать ногой на эту точку» (Пришвин и современность. С. 249).

¹¹⁹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 636.

как это происходило. Это был переход от внешнего к внутреннему, или, как он сам скажет, от книжного представления о жизни к самой жизни, к личному творчеству, к подлинному и неподдельному бытию, средоточием которого и стала в дальнейшем для Пришвина литература. Позднее, в 1921 году он так определил свое отношение к Марксу и своему с ним разрыву: «Я пережил Маркса в юности. И я наверное знаю, что все, верящие теперь в Маркса, как только соприкоснутся с личным творчеством в жизни, оставят это мрачное учение»¹²⁰.

Поразительная вещь: и пришвинский роман, и пришвинская жизнь – все это по большому счету история о том, как молодого человека в младенчестве напугали концом света, а потом в юности вовлекли в революцию, как он через это пострадал и как от революции отрекся, уходя в совершенно иные сферы – сюжет, прямо скажем, совершенно контрреволюционный. В Дневнике и невошедших набросках к «Кашеевой цепи» эти мотивы выражены более отчетливо, но и в романе их предостаточно, и тем не менее автор считался классиком советской литературы, роман его много раз издавался и был всеми признан, выходили книги его жены, глубоко религиозной женщины, где она вовсе не эзоповым языком писала о том же самом, о катастрофичности, гибельности революционного пути для молодежи своей эпохи. Писала сама и приводила выдержки из Дневников мужа, которые целиком при коммунистах опубликовать не могла, но зато везде, где получалось, давала убийственные выдержки.

Вот, например, приведенная ею пришвинская запись об одном из революционеров – Илье Мелитоновиче Волуйском: «Его ужас похож на пустынный татарник. Аполлона разобью! Настоящее дайте! Похабные слова при барышнях... Савонарола!»¹²¹

Илья Мелитонович – а был он сыном городского главы и любил шокировать своего папеньку и его именитых гостей тем, что встречал их у ворот собственной усадьбы в невозможной рванине жутким гоготом – куда уж там Марку Волохову! – стал впоследствии хирургом; другой революционер получил отцовское наследство на Мясницкой и вмиг сделался капиталистом: революция была для значительной части тогдашней молодежи не столько делом жизни, сколько поводом для того, чтобы всем вместе собраться и показать начальству или общественному мнению фигу. У Пришвина если и была бравада, то лишь на поверхности, и к тому же богатого отца у него не было, не было и никакого дела, и в глубине его беззаботного и бесшабашного существа, в подземной кладовой его души происходили совсем иные процессы, о которых он, возможно, и не подозревал.

¹²⁰ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 191.

¹²¹ Путь к слову. С. 66.

Глава V. Первая любовь

Итак, в Ельце ему исполнилось двадцать семь, заканчивался относительно счастливый для России XIX век, век расцвета русской литературы, а до литературы моему герою было по-прежнему так далеко, что он о ней даже и не задумывался. Если отбросить все экивоки, то перед нами, попросту говоря, недоросль, никчемный, недоучившийся студент, за спиной у которого были одни несчастья, провалы и поражения, а ничего материального, практически пригодного создано не было; все это он понимал, запоминал, было отчего прийти в отчаяние, и все вокруг, казалось, нашептывало: неудачник, неудачник, неудачник. Не зря позднее Пришвин написал: «Неважно прошли у меня и детство, и отрочество, и юность, и вся молодость – все суета»¹²², а еще девять лет спустя добавил, что был тогда «рядовой, необразованный, претенциозный русский парень»¹²³.

Даже опыта в отношениях с женщинами не было (или почти не было – пыталась его было соблазнить в Риге некая железнодорожная служащая Анна Харлампиевна Голикова, по прозвищу Жучка, но не соблазнила и с горя решила выйти замуж за их общего товарища по революционному кружку Романа Васильевича Кютнера; тут уж Михаил Михайлович спохватился и стал делать ей предложение, но она ему отказала и потом довольно часто снилась), зато было много рассуждений о целомудрии и чистоте, идеализма и прекрасных порывов души, по поводу чего так и хочется вспомнить Любовь Андреевну Раневскую из «Вишневого сада»: «Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..»

Чехов тут вообще очень кстати. В «Журавлиной родине» Пришвин писал: «Часто эпоха берет человека и делает его как бы засмысленным. Я начал в эпоху лишних людей, чеховских героев. Отсутствие бытия, в котором бездумно, как цветок, распускается личность художника, готово было и меня обречь на бессильное раздумье о моральном согласовании с жизнью своего действия».

И все-таки тем и отличаются по-настоящему талантливые люди, что даже свои неудачи и неуспехи умеют обратить себе на пользу для внутреннего развития, и потому напрасно эти годы для Пришвина не прошли.

Что-то исподволь, медленно, осторожно зрело в тайниках его души, что-то готовилось, ждало своего срока, и неудивительно, что позднее, размышляя о природе успеха и неуспеха, писатель занес в Дневник:

«Только измерив жизнь в глубину своей неудачей, страданием, иной бывает способен радоваться жизни и быть счастливым; удача – это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину»¹²⁴.

В полной мере ему предстояло испытать счастье и несчастье во всех измерениях в истории своей запоздалой и очень сильной первой любви.

Произошло это не в Ельце и вообще не в России, а в Германии, куда Пришвину удалось уехать и поступить на агрономическое отделение Лейпцигского университета. Учился он опять неважно (см. Копию диплома в фототетради), да и не так учеба была важна – важнее была любовь, потому что «с этого момента начинается зачатие личности, при ярком внезапном свете (любовь) жизнь человека вступает во второе полукружие, рожденная личность (второе рожде-

¹²² Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 339.

¹²³ Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 73.

¹²⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 28.

ние), стремясь не быть как все, направляется к центру (эрос) (...) и так слагается движение домой, к своей самости»¹²⁵.

И действительно, любовь у него получилась не как у всех!

Звали его Лауру Варварой Петровной Измалковой. Фотографии этой прекрасной дамы не сохранилось, и известно о ней не так много. Ни из Дневника, ни из воспоминаний не удастся восстановить никаких достоверных сведений о самой Варваре Петровне, и только недавно, благодаря изысканиям А. Л. Гришунина¹²⁶, стало известно, что отец ее, Петр Николаевич Измалков, был действительным статским советником. Он учился в Москве на юридическом факультете, после чего переселился в Петербург, стал членом Дворянского земельного банка и – благодаря А. С. Суворину – редактором журнала «Сельское хозяйство и лесоводство» и проживал в аристократическом районе на Захарьевской улице.

В «Кашеевой цепи» Инна рассказывает о своем родителе забавную подробность: «Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особую просфору, на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переименовал фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: "Помни, для меня ты вечный Чижиков!"»

Но было ли это на самом деле, утверждать не возьмется никто. Тем и коварен автобиографический роман, что реконструировать по нему события реальной жизни чрезвычайно сложно – слишком перемешаны здесь реальность и вымысел. Это касается не только истории с Измалковой, и Пришвин, хорошо это понимая и объясняя свой художественный метод, написал:

«С тех пор как я задумал свой старый роман «Кашеева цепь» сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе героем.

Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла. Вот почему, наверное, она и постучалась.

Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает, пока я не принесу свое горючее – вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее, так самолет поднимается на воздух. (...)

Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изменяла мне: отдаешься одной правде – вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле – она постучится».

И все же что бы писатель ни утверждал, в романе, на мой взгляд, история его любви выглядит надуманнее и скучнее, чем в Дневнике, где вызревала параллельная литература. В «Кашеевой цепи» Инна Ростовцева, прототипом которой была Варвара Петровна, появляется в жизни Алпатова еще в России в качестве назначенной партией невесты (при этом что ее-то к марксистам занесло, неясно совершенно) на тюремном свидании, молодые не знают, о чем говорить, и теряют время на молчание и на ничего не значащие фразы, и только уже прощаясь, таинственная девица намекает жениху на скорое освобождение (откуда ей это может быть известно, автор также не поясняет) и обещает следующую встречу за границей, куда едет учиться.

Лица ее он не видит – оно остается под густой вуалью, и на протяжении всего романа образ женщины, столь много значившей в личной судьбе ее создателя, образ, к которому он многожды обращался в Дневнике и художественной прозе, остается практически нераскрытым. Зато подробно описывается, как безумно влюбленный герой романа ездит за своей пас-

¹²⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 11.

¹²⁶ Гришунин А. Л. Пришвин, Блок и В. П. Измалкова // Михаил Пришвин и русская культура XX века. Тюмень, 1998. С. 116–120.

сией по Германии: вчера она была в Йене, а сегодня уехала в Дрезден; он бросается следом, встречается с людьми, которые ее только что видели, но не может настичь – сюжет почти тургеневский, – пока не находит наконец в Париже. Там, в Люксембургском саду, происходит несколько туманных встреч, где она рассказывает ему о своих высокопоставленных родителях, мило щебечет какую-то ерунду, оба мечтают, она с ужасом думает, как будет жених целовать руку ее матери-графине, и посылает ему взбалмошные записки.

И только в минуту сильного душевного волнения, несколько лет спустя, Пришвин дает штрихи к ее портрету: «Глаза у нее карие, этим карим заполнено все в глазу, карие на розовой коже, розовое круглое лицо, а лоб высокий, волосы как глаза, маленькая, склонная к полноте – ничего особенного! И все-таки...»¹²⁷

Вообще, как мне кажется, писать женщин Пришвин не умел и, похоже, что к этому не стремился. Левитан, например, не умел писать людей, и то же самое подмечал Пришвин в творчестве своего доброго друга скульптора Коненкова, который позднее изваял памятник на его могиле. Про главный женский образ в пору создания романа Пришвин отозвался так: «Морская царевна останется, верно, за сценой, как рок в древней трагедии, ее описать и невозможно, потому что в той действительности, которую мы мерим и считаем, едва ли есть она»¹²⁸.

То же самое относится и к истории любви: «Я никогда не могу описать свой роман, самую его суть... Я не могу взять море, но я могу подобрать самоцветный камешек и берегу его. Я не могу погрузиться в бездну вулкана. Но я могу собрать пемзу и остывшую лаву»¹²⁹. И все же из Дневника ранних лет и писем обоих возлюбленных встает очень любопытный и вполне зримый образ.

Знакомство с Варварой Петровной Измалковой произошло благодаря пришвинской приятельнице Анне Ивановне (?) Глотовой, замужней даме, которая переживала в ту пору тяжелую драму в личной жизни, уходила и возвращалась к мужу, а немолодой студент играл роль посредника в отношениях между супругами. Она пряталась с Варей, и все это происходило в каком-то пансионе, где было много французов. Двое непринужденно беседовали по-русски, на столе стояли в вазе красные цветы. Пришвин потихоньку оторвал большой лепесток и положил девушке на колени...

Однако дальше этого целомудренного жеста их отношения не пошли. Они ходили вместе в театр, много говорили, и Варвара Петровна признавалась, что не могла бы жить в России среди мужиков (к чему готовился Пришвин), он приводил в ответ литературные доводы, провожал домой, философствовал, рассуждал о Канте, а однажды сделал недемократичной девушке замечание, когда в конке оказался усталый потный рабочий и дамы, зажав носы, демонстративно вышли на площадку.

– Даже если б я был аристократом, то не позволил бы себе так оскорблять рабочего.

– Я не думала, что вы такой глубокий, – ответила она, смутившись и покраснев.

И в этот момент он понял, как сильно ее любит.

«Я ее так полюбил, навсегда, что потом, не видя ее, не имея писем о ней, четыре года болел ею и моментами был безумным совершенно и удивляюсь, как не попал в сумасшедший дом. Я помню, что раз даже приходил к психиатру и говорил ему, что за себя не ручаюсь», – писал Пришвин в 1905 году¹³⁰.

Отчего они расстались? В романе Инна хочет от Алпатова положения, за которым он отправляется в Петербург, где знакомится с ее отцом, урожденным Чижиковым, и здесь опять

¹²⁷ Пришвин и современность. М., 1978. С. 256.

¹²⁸ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 273.

¹²⁹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 64.

¹³⁰ Пришвин и современность. М., 1978. С. 217.

удивительное совпадение с Буниным и его неудавшейся женитьбой. «Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но буде пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: я не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании», – говорит либеральный доктор в бунинском романе; в действительности отец В. В. Пашенко и вовсе употребил то же самое слово «положение», которое так мучает Алпатова. «Отец (...) хочет, чтобы мы сошлись только тогда, когда у меня будет определенное положение»,¹³¹ – писал Бунин брату Юлию 19 мая 1892 года.

Но вернемся к «Кашеевой цепи». Возлюбленная главного героя в ответ на его путанные размышления о том, что его «кашеева цепь» из внешней стала внутренней, присылает ему решительное письмо, выдержанное в телеграфном, отрывистом стиле: «Слишком уважаю, чтобы отдаться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».

«Друг мой, – обращается после этого умудренный житейским опытом автор не то к герою, не то к самому себе, а не то ко всем будущим юношам, которым еще придется пережить на своем веку неизбежную любовную драму, – в любви к женщине бессильна молитва (...) Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не судьба».

Так сложилось в романе. Из пришвинских же дневниковых записей история получается иная. Девушка нашла что-то обидное в одной из его записок, они обьяснились, целовались, а наутро она пришла к нему с письмом, где было написано, что она его не любит, хотя лицо ее выражало иное. В тот же вечер он уехал в Лейпциг и через день получил письмо из Парижа, бросился в Париж, снова Люксембургский сад, пароход на Сене, Булонский лес и наконец – расставание на каком-то кладбище.

Все эти разговоры Пришвин восстановил три года спустя в Дневнике, и так снова всплыла тень Розанова, подмигнул своему непокорному ученику странный гимназический учитель, затуманивший мальчику голову мечтами и фантазиями.

«– Вы фантазер? – спросила она с таким выражением: можно ли на вас положиться... ведь это несерьезное, это ненастоящее.

Как это больно кольнуло меня. Но я сейчас же справился и говорю ей: «Нет же, нет, я не фантазер, но пусть фантазер, но я знаю, что из моей фантазии рождается самая подлинная жизнь. Своей фантазией я переделаю, я сделаю новую жизнь...»

Боже мой, как верил я в то, что говорил, как это ясно было для меня и как хотелось мне убедить ее, заставить и ее поверить. Фантазер потому, что нет союза, нет ответа у ней...

«Но что же мы будем с вами делать?» – спросила она. «Как что? – отвечаю я. – Мы уедем с вами в родные места, поселимся вместе и будем так жить прекрасно, что Свет будет от нас исходить. Мы будем радоваться жизни, и все вокруг нас будут радоваться». (...)

На другой день все опять заколебалось. Она мне сказала: я не могу решить окончательно, кажется, вы слишком большой фантазер, чтобы на вас положиться. Вы живете повышенной жизнью, которой живут художники, артисты... Ну так что ж, говорю я, ведь это хорошо. «Конечно, – сказала она, – но, как вам сказать, в сущности же я вас вовсе не знаю». – «Да как же не знаете, я весь перед вами. Я вам могу все сказать о себе... вы должны видеть меня...»

«Вы фантазер, – сказала она, – будемте пока только друзьями».

¹³¹ Цит. по: *Бабореко А. К.* И. А. Бунин. Материалы для биографии с 1870 по 1917. М., 1983. С. 36.

Она ушла и назначила мне свидание на завтра. Я пошел от нее в парк, в поле, в лес, между прудами...»¹³²

Пришвин написал это в 1905 году. Тогда он только начинал вести Дневник, из которого дошли до нас разрозненные отрывки, с трудом поддающиеся порою точной датировке, и записывать обстоятельства недавней «love-story» ему еще очень тяжело.

«Она мне сказала тогда, я люблю не ее. А между тем я не оставляю ее до сих пор. Не помню ее земного лица, но что-то люблю. Да кто же она?

Примечательно то, что все образованные, развитые женщины теперь мне почему-то неприятны... Чем выше духовный мир женщины, тем сильнее это отталкивание во мне. (...)

К той, которую я когда-то любил, я предъявил какие-то требования, которых она не могла выполнить. Мне не хотелось, я не мог унижить ее животным чувством. Я хотел найти в ней то высшее, себя, в чем бы я мог возвратиться к себе первоначальному. В этом и было мое безумие. Ей хотелось обыкновенного мужа. Она мне представилась двойною. Она сама мне говорила об этом:

– Поймите, что в действительности я одна, а та другая есть случайность. Это то лучшее, что останется с вами всегда, что вы от меня отняли.

И вот это лучшее действительно со мной. Это то, что помогает мне писать, что вдохновляет меня. Это – если бы у меня оказался талант – было бы моей «музой». Но она и бич мой».

Варваре Петровне было явно неуютно в обществе этого странного человека, она не понимала, чего он от нее хочет, томилась, пугалась и наконец решилась сказать последнее «нет».

«Она мне ответила на один миг и, когда одумалась, отказала. Это был острый удар в грудь. Я уехал от нее... Я уехал... Сердце мое было раскаленный (зачеркнуто) чугунный шар (...)¹³³.

Он вернулся в Россию, с горя сошелся с другой женщиной, стал отцом, потом ребенок умер, но и после всего пережитого Пришвин не забывал Варвару Петровну и несколько лет спустя, когда был уже фактически женат, неожиданно получил от нее письмо, в котором она сообщила ему о своем приезде в Петербург и назначила свидание. Ему было откуда-то известно, что она собиралась выйти замуж за профессора в Берлине, но в последний момент передумала и профессору отказала.

Все могло решиться в одночасье...

Позднее Пришвин предполагал, что полученная им записка «имела целью ликвидировать все серьезное каким-нибудь легким концом», то есть флиртом, но тогда он так не считал и от отчаяния рвал на голове волосы.

И было отчего: судьбе не было угодно, чтобы они встретились. Несчастный влюбленный, словно рассеянный профессор, перепутал день встречи и явился на вокзал сутки спустя назначенного свидания, когда окончательно и бесповоротно разгневанная Варвара Петровна уже уехала навсегда – «мне только случайно не удалось попасть на этот пир, и, вероятней всего, был заменен кем-нибудь другим, может быть, третьим, но это уж, конечно, ликвидация»¹³⁴.

«Что было бы, если бы я сошелся с этой женщиной. Непременное несчастье: разрыв, ряд глупостей. Но если бы (что было бы чудо) мы устроились... да нет, мы бы не устроились»¹³⁵.

Он, правда, очень ее любил. Все, что ни было важного в пришвинской жизни, второстепенно по сравнению с историей этой любви, а вернее, берет из нее начало и к ней возвращается: и литература, и секты, и декаденты, и революция, и охота, и скитания по стране, и несчастная семейная жизнь.

¹³² Пришвин и современность. С. 232–233.

¹³³ Пришвин и современность. С. 250.

¹³⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 332.

¹³⁵ Пришвин и современность. С. 219.

В 30-е годы, в ернических и серьезных одновременно размышлениях о загробной жизни, Пришвин написал с невероятной тоскою, ощущая, как проходит без любви жизнь: «Только вот одна невеста моя, с ней бы я встретился, я бы все отдал за это, я готов до конца жизни на железной сковороде прыгать или мерзнуть, лишь бы знать, что на том свете с ней встречусь и обнимусь»¹³⁶.

Она не принесла ему мужского счастья (если только есть такое понятие в противовес счастью женскому), даже не так – он сам этого не захотел – она-то была готова; но вместо того разбудила в нем поэта, и он проклинал и благословлял судьбу одновременно за то, что так произошло – вот еще одна причина вечной пришвинской раздвоенности и противоречивости и такого страстного стремления к цельности.

Уже будучи пожилым человеком, вспоминая свою жизнь и подводя некоторые предварительные ее итоги, Пришвин записал в Дневнике:

«Голос «прозевал» говорил мне о девушке, которая откинулась в кресле, закрыла глаза, вдруг вспыхнула и прошептала: «За такое чувство можно все отдать». А я ей читал в это время с бумажки исповедь своей любви к ней, все видел и почему-то не смел. И так прозевал я, пропустил навсегда единственную, предоставленную мне минуту блаженства в жизни самой по себе. Так было назначено мне – променять жизнь свою на бумажку»¹³⁷.

Да он просто обязан был после этого стать писателем, все к тому шло, и за писательством, как за волшебным колобком, устремился Пришвин, отталкивая свою любовь, но это понимание пришло позднее, а тогда, в год первой русской революции, когда рана была еще свежа и неясен смысл страдания, молодой влюбленный человек признавался:

«Я люблю тень той женщины и не знаю, мог бы узнать на улице или нет. Я по привычке всегда ищу ее глазами в петербургской толпе, но никогда не нахожу. В последнее время я два раза встречал на Невском женщину в черном, очень похожую на нее, необыкновенно похожую, но, кажется, чуть-чуть выше. Впрочем, я мог бы ее найти, и очень просто. Но я этого не делаю. Для чего? Это значит не признавать настоящего, а мне подчас кажется, что я свой *minimum* спокойствия, похожего на частицу счастья, сковал с громадной энергией и мужеством; так я думаю иногда, но иногда считаю эти мысли самообманом, иллюзией, без которой не могу жить.

Теперь мне 32 года, но я решительно ничего не имею. Время от времени меня влекут мечты, но они проходят, а пустое место заполняется снова. Но она мне сама говорила, что не стоит меня, она была искренна со мной, как ни с кем. Я читал ее дневники, заветные, никому не открытые думы. Я ее знаю больше, чем они»¹³⁸.

В 1912 году – то есть десять лет спустя после разрыва – довольно известный писатель (у Пришвина в том году вышло в горьковском «Знании» первое собрание сочинений) с трепетом в душе послал ей свои книги и надписал их: «Помните свои слова: – Мое лучшее, да, лучшее, навсегда останется с вами! Забыли?.. А я храню ваш завет: лучшее со мной. Привет от Вашего лучшего»¹³⁹.

И вот ответное письмо.

Что же пишет эта загадочная женщина? Благодарит? Удивляется? Кусает локти и жалеет о своей суровости? Ничего подобного!

«Я получила Ваше письмо и книги, но не ответила Вам сразу, потому что надпись на одной из книг возмутила меня.

По какому праву берете Вы на себя монополию на то, что есть во мне «лучшего»? Поверьте, Михаил Михайлович, мое «лучшее» осталось при мне и было и будет со мной всю

¹³⁶ Пришвин М. М. Дневник 1931–1932 годов // Октябрь. 1990. № 1. С. 177.

¹³⁷ Пришвин М. М. Дневник 1931–1932 годов // Октябрь. 1990. № 1. С. 168.

¹³⁸ Пришвин и современность. С. 219–220.

¹³⁹ Пришвин и современность. С. 212.

жизнь, потому что не может один человек отнять от другого то неотделимое и невесомое, которое называется «лучшим». А разве может женщина с седеющими волосами быть ответственной за слова и поступки двадцатилетней полудевочки? Годы, пропасть, Михаил Михайлович, и если бы мы с Вами встретились теперь, то мы друг друга не узнали бы (...)»¹⁴⁰

Это возмущение, достойный тон письма (здесь я решительно не соглашаюсь с уважаемым Валентином Курбатовым, назвавшим ответ Измалковой «бухгалтерски скучным и мертвым») характеризуют пришвинскую возлюбленную лучше любого романа независимо от того, как были в нем перемешаны правда и вымысел. Она не хотела быть мечтой: ни Прекрасной Дамой, ни Марьей Моревной, она не хотела быть художественным образом или материалом, из которого можно такой образ вылепить, – она была обычная и тем, наверное, действительно чудесная женщина, похоже несчастливая, резкая, прямая; она была личностью и как когда-то, в случае с Розановым, здесь снова столкнулись два самолюбия и столкновение это оказалось трагическим.

Дело не в глухоте «не к одному настоящему, но и к себе давней», а в том, что ей было очень худо в то время. Ведь Варваре Петровне всего тридцать, а пишет она так, словно бо́льшая часть жизни прожита и никаких надежд на лучшую долю нет, и ничего кроме раздражения и досады этот странный человек, попавшийся когда-то на ее пути, сбивший ее с толку, у нее не вызывает – она слишком занята собой и своей болью и слишком трезво, не по-пришвински смотрит на жизнь.

Но Пришвин, Пришвин, который так этого часа ждал, был задет и как мужчина, и как писатель ее угрюмым, каким-то даже брезгливым, обывательским отзывом на его литературные достоинства: «Про Вашу книгу ничего сказать не могу. Мы с вами говорим разными языками, и мне при моей крайней утилитарности жизни трудно даже настроить свою душу так, чтобы читать с пониманием о психологии людей столь далеких от меня во всех отношениях. Я ничего кроме английских газет и книг не читаю.

Почему Вы не пишете о чем-нибудь более ежедневном и близком».

Это письмо и этот вопрос не остались без ответа. Пришвин мучился, черкал бумагу и наконец выдал довольно пространственный и странный текст (самую пространную и странную часть которого лучше опустить, потому что к делу прямо она не относится и заведет в такие дебри психоаналитики, из которых уже и не выбраться):

«Ваше письмо получил. Оно было для меня страшное. Беру большой лист, чтобы хоть сколько-нибудь сделать себя понятным. Вы спрашиваете, отчего я не пишу о чем-нибудь ежедневном и близком. Как художник, я должен сливать это ежедневно-близкое с далекими близкими. А мое близкое так далеко, что для воплощения его я должен искать людей и природу необычную.

Меня смешит иногда, когда я читаю статьи моих противников, спорящих о моей «позиции». Вы были всегда моей единственной «позицией». А Вы далеко, вот почему я не пишу о том, чего Вы хотите. (...)

Мне было очень больно, Варвара Петровна, что Вы не поняли мою надпись на книге. Я думал о том, «лучшем» детском, которое весь мир бросает как ненужное нам, мечтателям, поэтам и художникам, и мы возвращаем его миру обратно. Я же у Вас ничего не отнимал, а просто подобрал ненужное Вам (это Вы и теперь не цените) и назвал его своим и Вашим «лучшим». (...)

Я потому называю страшным Ваше письмо, что оно пустое, голое, как скелет, и в то же время искреннее (скелеты самые искренние).

Теперь Вы, надеюсь, поняли смысл «возмутительной» надписи, но я признаю, что мысль моя выражена в надписи неясно и как-то задорно очень, и потому прошу вас вырезать эту стра-

¹⁴⁰ Пришвин и современность. С. 254.

ницу. Скелетных писем мне больше не нужно от Вас. Но я напишу Вам теперь еще лет через десять и пришлю Вам основную книгу, эта книга будет о Вас самой, и Вы тогда, совершенно седая, как императрица Мария Федоровна, поймете наконец, что значит: «привет от Вашего лучшего». Рыцарь Максим.

Р. S. Эту книгу напишет рыцарь Максим, и книга эта будет знаменитой. Это совершенно серьезно (потому что в ней же все мое счастье и горе будет)¹⁴¹.

Какой уж тут рыцарь? Скелетным можно было бы назвать пришвинский жесткий и подростковый обиженный ответ... Но переписка их на этом прекратилась, и никогда больше они не встречались, хотя встретиться, случайно или намеренно, могли.

Пройдут еще те самые десять лет, через которые Пришвин грозился ошеломить седую, как императрица, свою возлюбленную, и умудренный писатель, теперь уже никого не осуждая, совершенно иначе взглянет на эту ситуацию и напишет о своем первом любовном романе: «Он обобрал ее как девушку совершенно, взял с собой всю ее девичью душу и не дотронулся даже до тела, а потом, через десять лет, когда она совершенно высохла в бюро и поседела даже, то послал ей копию с его картины – портрет ее прекрасной души, – какое можно выдумать большее оскорбление! Между тем, он был искренним, потому что он был художник и считал, что остановленное мгновение жизни дороже проходящего. Она же и была вся там, в этом проходящем мгновенье (Для чего ее разбудили!)»¹⁴².

А еще через двадцать лет, уже совсем пожилой, будет судить одного себя: «Страсть не обманывает, страсть – это сама правда, обман выходит из подмены страсти физической ее духовным эквивалентом, от чего любовь распадается на животную (презренную) и человеческую (возвышенную), между тем как истинная любовь как борьба за личность человека одна. Написано по поводу любви моей к Варваре Петровне Измалковой, представшей мне как подмена естественной страсти. Подлость тут скрывается в том, что недоступность была потребностью моего духа, быть может, просто даже условие обнаружения дремлющего во мне таланта»¹⁴³.

И еще одно очень важное признание:

«И горб мой, узел, которым связано все мое существо, есть непонятная тяга к женщине, которую я не знаю и не могу знать, – мне недоступной. И самое непонятное в том, что будь она доступна, я стал бы сам создавать из нее Недоступную и утверждать в этом ее реальность.

В этом и состоял роковой роман моей юности на всю жизнь: она сразу согласилась, а мне стало стыдно, и она это заметила и отказала. Я настаивал, и после борьбы она согласилась за меня выйти. И опять мне стало скучно быть женихом. Наконец, она догадалась и отказала мне в этот раз навсегда и так сделалась Недоступной. Узел завязался надо мной на всю жизнь, и я стал Горбатым»¹⁴⁴.

Самое поразительное, что в Англии, как долгое время считалось и кочевало из одной книги о Пришвине в другую, как считал, наконец, и сам Михаил Михайлович, Измалкова не осталась, и обыденная версия, будто пришвинская муза захирела в роли банковской служащей где-то в Лондоне, как есенинская Анна Снегина, – несостоятельна. Накануне революции она вернулась в Россию, и имя ее упоминается в Дневнике Александра Блока – некогда хорошего пришвинского знакомого, но к той поре публично оскорбленного им оппонента.

В 1921 году Измалкова работала переводчицей в издательстве «Всемирная литература», основанном Горьким, куда могли привести ее либо К. Чуковский, либо Е. Замятин, либо Н. Гумилев. В дневнике Блока от 11 января 1921 года помечено: «В. П. Измалковой – "За

¹⁴¹ Пришвин и современность. С. 254–256.

¹⁴² Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 136.

¹⁴³ Путь к слову. С. 87.

¹⁴⁴ Мы с тобой. С. 24.

гранью прошлых дней"». Зачеркнутый вариант: «Седое утро»¹⁴⁵. То и другое – сборники стихотворений Блока, изданные в 1920 году.

Это – ответ Блока на что-то подаренное ему Измалковой к новому 1921 году: в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) – записка ее, датируемая концом декабря 1920 года: «А. А. Блоку. Новогодний подарок от В. П. Измалковой»¹⁴⁶.

В Петербурге-Ленинграде она прожила как минимум до 1934 года, работая после упразднения в 1924 году «Всемирной литературы» преподавателем Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета, после чего следы ее теряются...

В конце двадцатых Пришвин отправил Варваре Петровне письмо по старому адресу: «Глубокоуважаемая Варвара Петровна. Пробую на счастье послать это письмо Вам по адресу 1912 года и просить Вашего разрешения отправить Вам свои новые книжки, в которых я, мне кажется, добился языка Вам понятного и близкого...», а через два месяца печально отметил в Дневнике: «Вчера вернулось письмо из Англии обратно»¹⁴⁷.

Может быть, напрасно ломают головы ученые, размышляя над тем, почему Пришвин отошел от модернизма и декадентства и двинулся в сторону наивного реализма или еще в какую-то другую, зря пишут диссертации и изучают литературные связи, школы, группы, влияния – вся эволюция пришвинского письма заключалась в единственном, простейшем и трогательно-необходимом – научиться писать на понятном для Варвары Петровны языке.

А знала она об этом или не знала, читала или не читала, – очень легко могла и прочитать, ведь в конце двадцатых – начале тридцатых Пришвин был невероятно популярен (в анонсах «Красной нови», где писателей выстраивали по ранжиру, стоял на третьем месте, после Горького и Алексея Толстого), но это одному Богу ведомо. В любом случае ему была своя дорога, ей – своя...

И, наконец, последняя запись уже совсем пожилого человека, подводящего итог жизни:

«Чем больше, и дальше, и глубже прохожу свою жизнь, тем становится все яснее, что Инна мне необходима была только в ее недоступности: необходима была для раскрытия и движения моего духа недоступная женщина, как мнимая величина»¹⁴⁸.

Но прежде чем раскрыть свой дух, нашему герою нужно было преодолеть еще одно испытание, которое одни люди (мужчины) проходят легко и незаметно, а другие чудовищно тяжело. Пришвин был из породы вторых – из тех, кого, как правило, и вербует искусство¹⁴⁹.

«Любовь была (...) задержкой половому чувству (на Прекрасной Даме нельзя жениться!)»¹⁵⁰.

¹⁴⁵ Цит. по: *Гришунин А. Л.* Указ. соч. С. 116.

¹⁴⁶ *Гришунин А. Л.* Указ. соч. С. 116.

¹⁴⁷ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 15.12.1926, 17.07.1927.

¹⁴⁸ *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 309.

¹⁴⁹ Ср. у Б. Пастернака: «Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображения, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое? Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобождения от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками – сама природа. И только в их взаимопротиворечьи – полнота ее замысла» (*Пастернак Б. Л.* Воздушные пути. М., 1982. С. 221).

¹⁵⁰ *Пришвин М. М.* Дневник. Т. 4. С. 351.

Глава VI. Дух и плоть

Прежде чем перейти к следующей, еще более откровенной части, мне хотелось бы сделать одно отступление. Каждый человек, в том числе и писатель, имеет право на частную жизнь, на свое *privacy*, как бы мы сегодня сказали. И рассуждая об интимной стороне жизни, читая дневники и письма, цитируя исключенные автором из окончательной редакции фрагменты текстов, исследователь рискует оказаться в положении человека, который подглядывает в замочную скважину. Но случай с Пришвиным особенный.

Михаил Михайлович относился к своей жизни как к объекту творчества. Он творил ее (недаром житнетворчество было одним из ключевых для него понятий) и свой Дневник, тетрадки, куда заносил каждодневные обширные свидетельства жизни, считал главным своим произведением. Все, что ни есть в них тайного и интимного, того, что люди обыкновенно скрывают, что завещают своим душеприказчикам после их смерти уничтожить или уничтожают сами, Пришвин бережно хранил для будущего Друга-читателя, в роли которого оказались все мы, дожившие до публикации его архивов.

За это пристальное взглядывание в себя или в свое отражение в зеркале, как полагал Н. Замоскин («Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало», – писал Розанов), многие его не любили. Еще раньше, когда были опубликованы только выдержки из пришевинского Дневника, И. С. Соколов-Микитов, хорошо Пришвина знавший и по-своему очень ему близкий, раздраженно отзывался о прочитанном: «Игра словами и мыслями. Лукавое и недоброе. Отгалкивающее самообожание. Точно всю жизнь на себя в зеркальце смотрелся»¹⁵¹. Если жизнь Пришвина приглаживать или лакировать, если продолжать творить сахарный образ мудрого, светлого и занудного, внутренне не противоречивого благостного философа, каким традиционно предстает он в школьном, учительском восприятии, придется признать правоту этих слов.

Самое интересное в неподцензурном и неизвестном Пришвине, самое ценное в нем – последовательность и честность при невероятной противоречивости его существа. Говорить обо всем – так обо всем. Не делать ни из чего тайны, не выпячивать в болезненном припадке свои душевные язвы, но и не прятать их стыдливо, а показать человека таким, каков он есть во всех его противоречиях и борьбе «за свое лучшее» (а значит, и худшее показать, то есть то, с чем это лучшее борется), за «неоскорбляемую часть» существа. Для Пришвина легче всего было показать эту борьбу на своем примере, так что именно по такому пути он и пошел.

«Что же касается нескромных выходов с интимной жизнью, то разобраться в том, что именно на свет и что в стол, можно только со стороны, – писал Пришвин позднее в предисловии к «Глазам земли» и продолжал: – И еще есть особая смелость художника не слушаться этого голоса со стороны».

В Дневниках 40–50-х годов Пришвин прямо утверждал право писателя отображать интимную сторону любви в искусстве:

«Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивали.

Розанов этот секрет искусства хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искусства и творчеством не снимает, а, напротив, утверждает тот стыд, при котором люди иконы завешивали»¹⁵².

¹⁵¹ Соколов-Микитов И. С. На теплой земле. Л., 1979. С. 654.

¹⁵² Пришвин о Розанове. С. 202–203.

Пришвин со свойственной ему и им самим признаваемой самоуверенностью, которая была оборотной стороной великой неуверенности в себе, полагал, что чист или по крайней мере более чист, нежели Розанов, и что именно он и есть тот художник, которому дано освятить плоть. «Да, конечно, путь художника есть путь преодоления этого стыда: художник снимает повязки с икон и через это в стыде укрываемое делает святым»¹⁵³, и в этом стремлении он был тогда неодинок.

Культура Серебряного века остро реагировала на проблему пола. Это касается и литературы, и философии, которые зачастую нелегко разделить. Не говоря уже о бывшем елецком учителе В. В. Розанове, о символистах, Мережковском, Гиппиус, Арцыбашеве, Леониде Андрееве, Бунине и Куприне, дань этой теме отдавали и такие серьезные философы, как Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Вышеславцев. Куда труднее назвать писателя, ничего «такого» не написавшего (ну, может быть, Иван Сергеевич Шмелев, хотя и он создал в эмиграции замечательную «Историю любовную», своеобразный римейк тургеневской «Первой любви», книгу эротическую и одновременно православную, а затем продолжил этот мотив в «Путях небесных»), и для Пришвина эта болезненная тема до конца дней оставалась одной из важнейших.

В зрелые годы в отношениях с противоположным полом он проповедовал «физический романтизм», идею которого сформулировал таким образом: «Разрешение проблемы любви состоит в том, чтобы любовь-добродетель поставить на корень любви по влечению и признать эту последнюю настоящей, святой любовью.

Так что корень любви – есть любовь естественная (по влечению), а дальше нарастают листики, получающие для всего растения питание от Света. Это и есть целостность (целомудрие). Источник же греха – разделение на плоть и дух. (...) Целомудрие есть сознание необходимости всякую мысль свою, всякое чувство, всякий поступок согласовывать со всей целью своего личного существа, отнесенного к Общему – ко Всему человеку»¹⁵⁴.

Этот поздний мудрый итоговый «физический романтизм», воплощенный в образе своеобразного древа жизни, очень важного для всей пришвинской философии символа, был противопоставлен более раннему «романтизму безликому», о котором Пришвин рассуждал применительно к замыслу своего ненаписанного и известного под разными названиями («Начало века», «Марксисты») романа: «пол, источник жизни, подорван», а это привело к «абстракции полового чувства».

«Подорванность» пола, по Пришвину, могла проявить себя в самых разных формах, от возведения в идеал не конкретной женщины, но женщины вообще до полной половой распущенности. Не случайно в «Кашеевой цепи» ее главный герой протестовал против упрощенного, житейского отношения к женщине, в ответ на что один из его оппонентов в этом вопросе – некто Амбаров (фамилия, кстати, говорящая, Амбар в Дневнике восемнадцатого года – символ несвободы, в холодный амбар сажали большевики тех, кто уклонялся от уплаты налогов), легко меняющий жен, говорил ему:

«– Для меня большая загадка, почему из этого... – Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. – Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое».

Но пришвинский протагонист с таким незамысловатым подходом не соглашался и берег себя для будущего.

«Как трогательно воспоминание из жизни Алпатова, когда он, весь кипящий от желания женщины, окруженный множеством баб, из всех сил боролся с собой (с ума сходил) и сохранял чистоту для невесты, даже не для невесты, а для возможности, что она когда-нибудь будет его

¹⁵³ Мы с тобой. С. 156.

¹⁵⁴ Мы с тобой. С. 275–276.

невестой. Казалось, что вот только он соединится с одной из баб, так он делается в отношении ее таким, что и невозможно будет уже к ней прийти»¹⁵⁵.

И все же дело здесь не только в трогательности. То там, то здесь по очень искреннему Дневнику писателя обронены самые горькие и по-пришвински противоречивые, чуть ли не взаимоисключающие признания насчет обделенной юности и затянувшегося целомудрия («Недаром голубая весна так влечет к себе мое существо: смутные чувства, капризные, как игра света, наполняли большую часть моей жизни. Ведь в 47 лет только я получил наконец от женщины все то, что другой имеет в 25 лет и потом остается свободным для своего "дела"»¹⁵⁶; «моя драма: преодоления девства»¹⁵⁷), и итогом этих размышлений стала запись совсем поздних лет от 3 октября 1951 года: «Любовный голод или ядовитая пища любви? Мне досталось пережить голод»¹⁵⁸.

В зрелые годы, встретив наконец женщину, которую он так долго искал, Пришвин пришел к убеждению в благотворности сексуального воздержания и полагал, что именно из этого голода он родился как художник.

«Вчера в консерватории слушали великолепный концерт венгерки Анни Фишер, и после ночью думал о технике любви, о том, что и тут техника, и тут часто бывает: «Техника решает все».

Вся эта «любовь» через всю жизнь, и все это искусство мое вышло только из-за того, что я не знал «техники». Если бы перед этим опытная женщина один какой-нибудь час поиграла со мной, вся эта любовь через всю жизнь часом бы и кончилась. Вопрос о том, лучше бы устроилась моя жизнь или хуже – невозможно сказать, но только жизнь была бы иная: не «идеальная», а реальная»¹⁵⁹.

Еще более благосклонно он относился на семьдесят девятом году жизни к естественному прекращению этой страсти: «Люди еще молодые, состоящие в плену главной человеческой страсти, обеспечивающей размножение, представляют себе жизнь без этого, как смерть. Они не подозревают, что как раз-то и начинается свободная и большая жизнь, когда они освободятся от этого пристрастия»¹⁶⁰.

Но в молодости и даже в середине жизни все представлялось ему гораздо сложнее и трагичнее. «В этом-то и трагедия моя, что я не мог к этому акту отнести как к чему-то священному и обязывающему, что я безумно страдал при каждом акте с проституткой, а без акта, на монашеском положении – пробовал, но физически не мог вынести и доходил до психиатра»¹⁶¹. «Пишу Алпатова чистым, а между тем сам в это время не был чист, и это очень задевает: ведь я хочу держаться природы. Но вот особенность моей природы, из которой можно выделить кусок для создания Алпатова: в общем редкие «падения» с проститутками совсем не затрагивали собственно эротическую сторону моей природы, напротив, очень возможно, что именно этой силой отталкивания закупоривало девственность, создавая экстремизм»¹⁶²¹⁶³. Отчасти именно этот экстремизм и страх психического расстройства свел Пришвина на тридцатом году жизни

¹⁵⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 330.

¹⁵⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 171.

¹⁵⁷ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 16.01.1927.

¹⁵⁸ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 486.

¹⁵⁹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 654.

¹⁶⁰ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 537.

¹⁶¹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

¹⁶² Ср. также: «Сила, создающая горы, через которые река пробивается: сила тяготения, косность масс. Эта же сила тюрьмы, Кашеевой цепи. Теперь перехожу к анализу силы, которая задерживает осуществление полового акта до такой степени, что человек накаляется и признает святость его (Розанов)» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневники М. М. Пришвина. 2.1.1927).

¹⁶³ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 24–25.10.1927.

с женщиной, которая стала матерью его детей, с которой прожил он много лет в несчастливом браке и принес много страданий и себе, и ей.

Так появился еще один очень важный герой, вернее героиня нашего повествования – его по-настоящему первая женщина и первая жена, так не похожая на Прекрасную Даму.

Вот как писатель описывает историю своего с ней знакомства:

«Было мне очень неладно: борьба такая душевная между животным и духовным, хотелось брака святого с женщиной единственной, вечного брака, соединиться с миром, и в то же время... мне был один путь – в монахи, потому что я воображал женщину, ее не было на земле и та, за которую я принимал ее, пугалась моего идеала, отказывалась. Мне хотелось уйти куда-нибудь от людей в мир, наполненный цветами и птичьим пением, но как это сделать, я не знал, я ходил по лесам, по полям, встречал удивительные, никогда не виденные цветы, слышал чудесных птиц, все изумлялся, но не знал, как мне заключить с ними вечный союз. Однажды в таком состоянии духа я встретил женщину молодую с красивыми глазами, грустными. Я узнал от нее, что мужа она бросила – муж ее негодяй, ребенок остался у матери, а она уехала, стирает белье, жнет на полях и так кормится. Мне она очень понравилась, через несколько дней мы были с ней близки, и я с изумлением спрашивал себя: откуда у меня взялось такое мнение, что это (жизнь с женщиной) вне того единственного брака отвратительна и невозможна»¹⁶⁴.

В 1925 году Пришвин сделал, в скобках, рассуждая о своем становлении как писателя, изумительное добавление к истории знакомства с Ефросиньей Павловной, быть может, лучше всего объясняющее, что же тогда с ними произошло и как возникла эта странная семейная пара: «Когда мы совокупились, то решили купить ко-ро-ву! вот ведь какие соки-то пошли».

В разное время он по-разному писал об этой женщине и об истории их связи. Для Пришвина это вообще характерно, пишет ли он о Розанове, философских понятиях, декадентстве, политике или христианстве, и, быть может, этой переменчивости, шаткости, а если угодно, диалектики и сложности не могли простить иные из его современников и более поздних интерпретаторов.

Еще в восемнадцатом году, во время чрезвычайно путаного, противоречивого и, по мнению биографов писателя, единственного пришевинского адюльтера, которому посвящено немало страниц в богатом событиями Дневнике за восемнадцатый год, Пришвин записал: «Соня (любовница Пришвина. – А. В.) плохо поняла мой союз с Ефросиньей Павловной: она говорит, что мы с ней неподходящая пара; но в том-то и дело, что я свою тоску по настоящей любви не мог заменить, как она, браком по расчету на счастье; я взял себе Ефросинью Павловну как бы в издевательство "над счастьем"»¹⁶⁵.

Но не все было столь просто:

«В. и Ф. Не будь Ф., я бы погиб (Маруха): одиночество духа невоплощенного. Не будь В., я бы стал обывателем...»¹⁶⁶

Вот так: Сцилла и Харибда. С одной стороны – бездна духа, с другой – рутина и обывательская жизнь. Как быть, как уцелеть? Каждый решает этот вопрос для себя сам – Пришвин весьма радикальным образом: в тридцать лет он фактически женился на своей первой женщине (редкие проститутки не в счет) и очень в этом позднее раскаивался.

«Вина основная во мне, что я эгоист и заварил брак в похоти, в состоянии двойственности, в грубейшем действии соединить уже во мне разъединенное: плоть и дух, в самообмане, в присоединении к естественному чувству (которое и надо было удовлетворять, как все?) идеологии брака»¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 203.

¹⁶⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 266.

¹⁶⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 51.

¹⁶⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

Сюжет любви интеллигента к простолюдинке какой-то бунинский, что-то вроде «Митиной любви» (недаром так потряс Пришвина этот рассказ земляка)¹⁶⁸ или «Темных аллея», которые он вряд ли читал, но если бы прочел, наверняка оценил бы не менее высоко. Но есть и разница. Для бунинских героев, дворян, студентов, барчуков – а точнее, для одного общего героя, перемещающегося из рассказа в рассказ – естественно было сойтись с крестьянкой или горничной, даже полюбить ее – и совершенно немислимо на ней жениться, ибо Бунин сословных предрассудков всегда придерживался; пришвинская же судьба и некий, поначалу противоположный бунинским разрывам и расставаниям исход его любви, женитьба на дикарке, рождение детей, строительство дома и будущие очень сложные отношения с простонародной супругой, так или иначе все равно приходящие к разрыву через много лет («конечно это была не семья, а прицепка к жизни»), словно дают ответ на вопрос, что бы было, если б Николай Алексеевич из давшего название всей бунинской книге рассказа женился на крестьянке Надежде.

Мучительное переживание разрыва плоти и духа сближало елецких юношей ничуть не меньше, чем ужас революции семнадцатого года двух соседей-помещиков (так что связь между революцией и полом, конечно, есть, хотя педальирование этой темы в духе работ А. М. Эткинда кажется мне вряд ли оправданным).

Пришвин боялся кошмара чисто физиологического соития, сколько мог, избегал, сдерживал себя изо всех сил, сходил с ума, страдал, бросался то в марксизм, то в идеализм (для него это было одно и то же: «В своем кружке мы постоянно говорили, что бытие определяет сознание, но жили обратно: наше сознание идеальной и разумной действительности поглощало все наше бытие»), пока не понял, что плотское – это зверь, которому надо дать насытиться, а если оставить его голодным – то прямой путь к хлыстам.

«Во всех попытках жить для всех бессознательно управляет человеком его самость, но встречаясь в сознании с альтруизмом, она превращает жизнь человека в гримасу; единственный способ освободиться от этого зверя, всегда голодного, это насытить его, следить за ним, ухаживать, и вот, когда успокоенный зверь уснет, можно позволять себе отлучки в другую сторону (*altera*): это хозяйство со своим зверем и есть самость, без которой нельзя помочь другим людям»¹⁶⁹.

Любопытные мысли по этому поводу есть у Б. Пастернака в «Охранной грамоте»: «Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств не пополняло бы. (...)

Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью».

Предвосхищая пастернаковские строчки, Пришвин написал в 1925-м, за шесть лет до «Охранной грамоты», со схожим по стилю зачином и совершенно иной мыслью: «Есть такие отношения к женщине – «святые», для этих отношений до конца оскорбительна и невозможна попытка к совокуплению (иногда это равновесие дружбы нарушается похотливой попыткой с той или другой стороны). Отсюда и происходит у нас омерзение к акту. И еще, нельзя же чувствовать постоянно себя в состоянии полового напряжения: работа, дело, умственная жизнь и мало ли чего... День отодвигает это во мрак ночи, в тайну ночной личности. Появление днем ночных чувств – иногда омерзительно...»

¹⁶⁸ «До неприятности все близкое (елецкое) и так хорошо написано, будто не читаешь, а ликер пьешь» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 176).

¹⁶⁹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 20.

Но это я не к тому, а вот к дружбе или к какому-то особенному чувству к женщине как к нежному товарищу: я это чувство имею и, если замечаю самым отдаленным образом в таком товарище движение пола, – он меня отталкивает. Налет культурности в женщине, образ жизни ее – с книгами... отталкивает мое половое чувство: я могу совокупиться только с женщиной-самкой, лучше всего, если это будет простая баба»¹⁷⁰.

Последнее связано было не столько с заочной полемикой с Пастернаком, сколько с обстоятельствами собственной личной жизни и диалогически обращено прежде всего к Бунину. Не случайно, размышляя над любовными страницами автобиографического романа, который Пришвин писал как раз в те годы, когда прочитал «Митину любовь», бросая земляку своеобразный вызов и с ним споря, Михаил Михайлович настаивал на своем решении проклятого вопроса: «Я же дерзну свою повесть так закончить, чтоб соитие стало священным узлом жизни, освобождающим любовь к жизни актом. Для этого Митя (имеется в виду пришвинский Митя, то есть Алпатов. – А. В.) сделает Аленку своей женой и за шкурой Аленки познает истинное лицо женщины, скрытое...»¹⁷¹

Между тем Аленка пришвинская, из-за которой весь сыр-бор разгорелся, о браке с которой сожалел Пришвин многие лета своего супружества, о которой оставил много резких строк и глубокомысленных рассуждений, была по-своему удивительная и замечательная женщина, личность, и лучше нее самой никто о ней не расскажет.

«Родилась я в деревне Следово Смоленской губернии, Дорогобужского уезда, в семье Бадькиных. Жили бедно: отец рано умер, мать одна маялась с детьми – кроме меня было еще четверо.

Все было так убого в нашей жизни, так нищенски, что и рассказывать-то стыдно. Вся жизнь проходила в тяжелой работе. Я все умела: и жать, и косить, и скотину обихаживать, да что говорить, ни одна крестьянская работа мимо моих рук не проходила.

Но бывали все же и праздники. Редко, правда, а все же были дни, которые вспоминать радостно. В праздник не работали, это даже за грех считалось. Такого праздника ждешь, бывало, как красного солнышка. Особенно любимый был праздник Троица, а за ней Духов день. Этот праздник – летний. В этот день мы уходили в рощу, хороводы водили, песни пели – я и плясать, и петь одна из первых была.

Недолго длилась моя девичья жизнь. Вскоре просватали меня за Филиппа Смогалева. Просватали против моей воли, потому что Смогалева двор считался богатым: у них лошадь была. Мне тогда было шестнадцать лет, ему двадцать два. Жених не нравился мне, я плакала. А мать уговаривала:

– Ты там сыта будешь, и соседство близкое: будет ребенок – я присмотрю.

Когда под венцом стояла, хотела крикнуть, что, мол, не согласна, меня неволей отдают. Но пока с духом собиралась – ведь на это все же смелость нужна, – венчанье шло своим чередом. Вот уж и вокруг аналоя повели – все, повенчали.

Муж был пьяница и безобразник. Ни доброго слова, ни ласки я от него ни разу не слышала, не видела. Он бил меня без вины, жизнь была – сплошная мука.

Земский начальник знал о моей тяжелой жизни и распорядился выдать мне на три месяца паспорт – как ушедшей в город на заработки. Я мешок с пожитками собрала. Яшу у матери оставила – и уехала. Хотела прямо в Москву. Да меня отговорили – ты, говорят, там пропадешь. Лучше в какой-нибудь небольшой городок. Вот так и очутилась я в Клину.

Поступила на работу в прачечную. Работала, пока срок паспорта вышел. А дальше что делать? Видно, хочешь не хочешь – приходится к мужу возвращаться. Я бы, кажется, лучше под поезд легла, да ведь у меня Яшенька. Делать нечего, собрала я мешок в дорогу. И тут приходит

¹⁷⁰ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 336.

¹⁷¹ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 21.12.1926.

знакомая моя, хорошая женщина, Акулина, и говорит, что живут тут поблизости два холостяка – Михаил Михайлович Пришвин да Петр Карлович (фамилии не помню). Им прислуга нужна. Только я это услышала, мешок в сторону и, не раздумывая, прямо к ним пошла. Думаю, будь что будет, хуже не станет.

Михаил Михайлович посмотрел на меня и засомневался:

– Женщина красивая, молодая, как бы не стали к ней солдаты ходить!

Однако же взял меня. Солдаты не ходили, а мы с Михаилом Михайловичем скоро друга друга полюбили и сошлись как муж с женой»¹⁷².

По-моему, рассказ замечательный и в человеческом, и в литературном отношении и, если так можно выразиться, достойный и пришвинского таланта, и личности писателя.

Но мужа и жену никому рассудить не дано и, чем гадать, лучше просто прислушаться к их голосам, тем более что никакой тайны из своей личной жизни Пришвин не делал и наряду с размышлениями о политике, о философии, литературе, наблюдениями над природой и записками охотника много писал и о всех перипетиях семейной жизни. Валерия Дмитриевна по понятным причинам не касалась в своих книгах пришвинской семейной драмы, но если говорить о личности Пришвина всерьез, избежать этой темы невозможно.

Пришвин не женился, а именно сошелся с Ефросиньей Павловной. Жениться он и не мог – она ведь была замужем (и поразительно: опять как бы слепок с розановской судьбы, только там – Розанов не мог жениться, ибо законная жена, Суслиха, как он ее звал, не давала ему развода), и официально брак свой они оформили только после революции.

Он не относился к этой связи очень серьезно и в любой момент был готов с крестьянкой расстаться.

«Наш союз был совсем свободный, и я про себя думал так, что если она задумает к другому уйти, я уступлю ее другому без боя. А о себе думал, что если придет другая, настоящая, то я уйду к настоящей... но никуда мы не ушли от себя...»¹⁷³

Для родных Пришвина, и особенно для матери, брак с простолюдинкой был такой же нелепой фантазией, как побег в Азию, как сидение в тюрьме за идею или туманная любовь к Прекрасной Даме. Женщина практическая и властная (домашнее прозвище ее было Маркиза), она не захотела поначалу признавать невестку. Как писал Пришвин про свою матушку в «Журавлиной родине», «она сама была из купцов, училась на медные деньги и в глубине души своей каждую деревенскую женщину считала хамкой гораздо больше и решительней, чем люди белой кости, дворяне». К тому же на примете у Марии Ивановны была какая-то учительница (о ней в Дневнике говорится очень глухо, мельком), на которой она хотела женить сына, но некоторое время спустя, если верить Ефросинье Павловне, Маркиза переменяла мнение.

«Когда мать Михаила Михайловича узнала, что ее сын женился на «простой бабе», она, конечно, была очень недовольна. Приехала к нам посмотреть как и что. Мария Ивановна гордая была очень, сблизиться с ней было трудно. Но все же сказала сыну, а он мне передал:

– Ты, Миша, держись этой женщины, не обижай ее, она дельная и добрая»¹⁷⁴.

Он «держался» ее до середины тридцатых – дальше не сложилось.

«Ефросинья Павловна вначале была для меня как бы женщина из рая до грехопадения: до того она была доверчива и роскошно одарена естественными богатствами. Я эту девственность ее души любил, как Руссо это же в людях любил, обобщая все человеческое в «природу». Портиться она начала по мере того, как стала различать»¹⁷⁵.

¹⁷² Воспоминания о Пришвине. С. 32–33.

¹⁷³ Путь к слову. С. 104.

¹⁷⁴ Воспоминания о Пришвине. С. 34.

¹⁷⁵ Путь к слову. С. 103.

На беду свою она действительно была очень умной и незаурядной женщиной, что в несколько парадоксальной, розановской манере подтверждал и ее второй муж:

«Ефросинья Павловна была настолько умна и необразованна, что вовсе и не касалась моего духовного мира».

Ими было прожито вместе почти тридцать лет, Ефросинья Павловна родила Пришвину троих сыновей (один из них рано умер) и закончила свои воспоминания лаконично и хлестко:

«Муж мой не простой человек – писатель, значит, я должна ему служить. И служила всю жизнь как могла».

(Не могу не привести любопытную цитату из книги В. Н. Муромцевой-Буниной, касающуюся доли писательских жен: «За столом Марья Федоровна (Андреева, неофициальная жена А. М. Горького. – А. В.), сидевшая рядом с ним, не позволяла ему буквально ничего делать, даже чистила для него грушу, что мне не понравилось, и я дала себе слово, что у нас в доме ничего подобного не будет, тем более, что она делала это не просто, а показывая, что ему, великому писателю, нужно служить. Раз она спросила меня:

– Сколько лет вы служите Ивану Алексеевичу?

Меня это так удивило и даже рассердило, что я ничего не ответила»¹⁷⁶.)

Ефросинья Павловна сыграла в жизни Пришвина роль чрезвычайно важную: «Через деревенскую женщину я входил в природу, в народ, в русский родной язык, в слово».

Он хорошо понимал ее преданность («Для меня Фрося может оставить своих детей: только бы жизнь ее возле меня... Другая из-за ребенка мужа забывает»¹⁷⁷), но все же свой брак считал трагической ошибкой и брал всю вину за него на себя: «Вина моя в том, что я с нею сошелся и не бросил ее до появления детей, вообще поставил ее на положение жены, познакомил с родными, ввел в круг высший и дал почувствовать свой низ. Вина моя в легкомыслии к браку и в эгоизме, не внешнем, а глубоком: иметь тихий угол, уединяться, творить, печатать, все это мое, а не ее. (...) Для нее я, собственно для нее не мог ничего сделать, потому что всю жизнь желал другую, и это желанное отдавал в печать: ее я обманывал. Но это очень тонкий обман, и я не думал, что когда-нибудь и за это придется отвечать»¹⁷⁸.

А отвечать за брак с Фросей пришлось довольно скоро, тем более что в богатом и насыщенном характере самобытной смолянки, похоже, напрочь отсутствовали такие несомненные женские добродетели, как терпение и кротость. Вот характерная жанровая сценка, живописующая отношения между супругами.

Семья собирается переехать на дачу. Михаил Михайлович торопится, он весь в нетерпении, у него мамин характер стремительный («стремительная торопливость, главная его черта, спех – взять атакой»), а в Ефросинье Павловне его раздражает «медленность сборов, отсутствие плана, цели, безвременное теряние главного из-за веревки, из-за шпильки – женское». Она ему – как гири на ногах.

Наконец собрались, едут. В поезде Пришвин начинает цепляться к сыну, щекочет ему за ухом, Левушка разворачивается и бьет папашу кулаком по лицу. Это у них в порядке вещей, семейный стиль общения, и Ефросинья Павловна не обращает на мальчика никакого внимания, да и сам Михаил Михайлович тотчас же обо всем забывает. Зато публика в негодовании. Какая-то мещанка, затем сельский священник – все начинают выговаривать Леве и делать ему внушение, а Ефросинья Павловна громко кричит на мужа:

– Ты сам виноват! Так тебе и нужно, ты избаловал ребенка.

Пришвин приходит в бешенство («В такие минуты колеблется земля, как будто я в чем-то попался, неминуемое отвратительное, неизбежное родовое – все восстало: как будто все время

¹⁷⁶ Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. М., 1989. С. 443.

¹⁷⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 49.

¹⁷⁸ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 248.

я притворялся и скрывал тайну, говорил всем: смотрите, как мы хорошо живем, мы хорошие люди, и вдруг все обнаружилось»), и размолвка оканчивается словами Ефросиньи Павловны:

– А ты думаешь, я дура, не понимаю, что мы не пара, да поздно, поздно...

И очень характерная ремарка – в ней весь Пришвин: «А какой день-то пропал!»

Вот этого он боялся, пожалуй, больше всего на свете – пропавших дней.

А вот свидетельство биолога К. Н. Давыдова, который сошелся с Пришвиным на почве охоты и оставил, быть может, лучшие из всех существующих о Михаиле Михайловиче воспоминания.

«Не преувеличивая скажу, что самым близким существом для него была не жена, не дети, а его легавая собака. Добавлю, что Пришвин никогда не говорил о своей семейной жизни. Как-то раз я выразил ему свое удивление, почему он никогда не приглашает меня к себе.

– Уж не боишься ли ты, – сказал я шутливо, – что я начну ухаживать за твоей женой?

– Нет, – совершенно серьезно ответил Пришвин, – тут дело не в жене, а в собаке.

Как всполошился я, ошарашенный этим ответом.

– Да, – пояснил мой собеседник, – тебя к себе оттого не приглашаю, что боюсь, мой Спорт может открыть в тебе что-нибудь настолько близкое его душе, что может свои симпатии перенести на тебя...»¹⁷⁹

Шли годы. Пришвин писал книги, путешествовал, участвовал в литературной жизни, потом началась Первая мировая война, и писатель с горечью отметил, что в своей семье он на обочине, а предположение, будто бы Ефросинья Павловна готова ради него пожертвовать детьми, оказалось свидетельством полного непонимания ее характера. В 1915 году он написал совершенно пророчески, словно предугадывая семейную драму тридцатых годов и свой будущий открытый конфликт с женой и детьми:

«Как она укрепляется детьми. При такой ее близости к детям будущее почти несомненно: она и три ее защитника. Как смешно сострадание к ней было бы: она в сравнении со мной богатейший, неистребимый человек».

Но буквально через несколько дней вдруг записал, пытаясь определить свое отношение к тому, как переменилась за двенадцать лет жена:

«Когда Фрося превратилась, по-видимому, окончательно в злейшую Ксантиппу, то теперь только и вырисовывается то милое существо, которое я так любил: сарафан, платочек, весла на реке, лес, грибы и такая со всеми ласковость и простые слова. А теперь это вечно надутое ворчливое существо, всех отталкивающее от моего дома, с глупыми требованиями».

И Пришвин это понимал, но есть последнее и высшее соображение, которое не позволяло ему жалеть о своем выборе и идти по тому пути, на который он встал.

В 1915 году, год спустя после смерти Маркизы осиротевший сорокадвухлетний человек пишет «письмо к покойной матери» и в этом удивительно нежном исповедальном послании по ту сторону земного бытия есть строки, касающиеся и его семейной жизни:

«Недавно я в связи со снами и домашними сценами вспоминал, как ты чуть не женила меня на учительнице и как я, вопреки твоему желанию, пошел своим путем, диким. Мне так отчетливо представились все выгоды того брака для нынешней моей жизни: не говоря о воспитании детей, большей общительности и т. п., я еще учитывал собственный личный рост; ведь наше личное богатство удесятерится от сообщества с таким человеком. Все это хорошо, но она мне снится в образе старухи, и я всегда в ней чувствовал что-то старушечье. Ты не могла понять, что твой выбор был серединой между моими двумя крайностями и для этого надо было быть серединой. Но какая мать не пожелает для сына среднего пути, сохраняющего его земную жизнь... я не раскаиваюсь, но часто тоскую, эта тоска и гонит меня в литературу...»¹⁸⁰¹⁸¹

¹⁷⁹ Воспоминания о Пришвине. С. 39–40.

¹⁸⁰ Продолжу цитату: «... в мечту, за мечту получают деньги, на которые умелый человек мог бы устроить приличную

среднюю жизнь. Получается что-то нелепое: тоска по среднему состоянию и коренное к нему презрение. Впрочем, твой завет бороться с претензиями я постоянно держу в уме». А в 1920-м Пришвин записал: «...из писем создалась литература (личное), а безличное ушло в пол (Ефр. Павл. и дети)».

¹⁸¹ *Пришвин М. М.* Дневник. Т. 1. С. 67.

Глава VII. Первая книга

Вот и прозвучало наконец это заветное слово – «литература» – и пришло время обратиться собственно к искусству слова. В самом деле, сколько же можно рассказывать о писателе, не касаясь его творчества, даже если главным предметом и фокусом этого творчества была его жизнь?

«Я отдал свою молодость смутным скитаниям по человеческим поручениям и только в тридцатилетнем возрасте стал писать и тем устраивать свой внутренний дом», – вспоминал Пришвин позднее, определяя этот важный рубеж, разделивший его жизнь.

Свою первую значительную художественную книгу очерков Выгорецкого края «В краю непуганых птиц» он написал в 1906 году. Уже два года Михаил Михайлович жил в Петербурге на Васильевском острове, куда переманил его елецкий товарищ Александр Михайлович Коноплянцев, который сам к тому времени окончил университет, работал в министерстве, вращался в столичных литературных кругах, увлекался философией и по части жизненных успехов давал своему земляку сто очков вперед.

Послужной список Пришвина был скромнее. Правда, за спиной у него осталась учеба в Германии, где он сумел получить образование и окончательно расплевался с марксизмом, но практическое применение этого образования на Богородских хуторах графа Бобринского в Тульской губернии, а затем в Клину (где он познакомился с Ефросиньей Павловной) и служба в Петровской сельскохозяйственной академии в Москве – его не устраивали. Все это чужое – и в том возрасте, когда людям свойственно делать карьеру и стремиться к благополучию, отделяя профессию от увлечений, уже на путь этого благополучия вставший и вполне способный добиться положения, которым пугал брат Николай Алешу Арсеньева из единственного бунинского романа: «... и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик, – и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...» – точно подслушав этот испуг родственного ему персонажа, Пришвин бросил агрономию и благодаря своему двоюродному брату Илье Николаевичу Игнатову получил возможность заняться журналистикой и печататься в «Русских ведомостях».

Однако работа в газете не приносила радости, он чувствовал, что способен на большее, а самое главное – опека кузена крайне утомляла – хотелось свободы, и тогда, не порывая с журналистикой и занимаясь ею до семнадцатого года, а потом вынужденно вернувшись к ней в советские времена, он написал свой первый вольный рассказ.

В «Журавлиной родине» Пришвин так объяснил причины, приведшие его к занятию литературным трудом: «Я выбрал писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться».

А в Дневнике 1922 года встретится запись: «Другие по своему воспитанию и образованию входят в литературную среду естественно, и им это, как дар свыше или как наследство, для меня же переход от политической невежественной интеллигенции в среду людей культурных сопровождался как бы крещением и таким чувством свободы, что я до сих пор считаю свое дело святым делом, не имеющим ничего общего со всякими другими делами».

Вот для чего приехал он в Питер – для литературы!

Историю Михаила Пришвина можно было бы сравнить с историей тысяч молодых людей, приезжавших в Петербург с тем, чтобы сделать литературную или иную карьеру, можно было бы уподобить его бальзаковскому Растиньяку или мопассановскому «бель ами», герою гончаровской «Обыкновенной истории» и т. д. – с той только разницей, что Пришвину было уже за тридцать, он был обременен семьей, а менять жизнь в этом возрасте и в этих условиях очень нелегко.

Позднее в замечательном, хотя и несколько приглаженном очерке «Охота за счастьем» он вспоминал эти годы: «Я пробовал писать повести, которые мне возвращались редакциями. Я был один из множества русских начинающих литераторов, которые представляют себе, что написать хорошую вещь можно сразу (...) Самолюбие мое было такое болезненное, что я ни разу не позволил себе лично отнести свою вещь в редакцию».

А в Дневнике 1921 года то же самое ощущение выражено гораздо трагичнее: «Я почувствовал вдруг то жуткое одиночество, которое охватывает не в пустыне, – в пустыне Бог! а в большом городе, где-нибудь в Питере на Невском в первое время литературной карьеры, когда выходишь из ужасной газетной редакции, наполненной политическими спекулянтами, с отвергнутым рассказом – выходишь с физической точкой тоски у сердца...

Боже! как я не знал, просто не догадывался, что это черное пламя начинающейся тоски можно бы залить водкой, сын алкоголика, и я не знал, как пользоваться алкоголем! Вот бы тогда как радостно шел бы я через Невский – трин-трава! а тут иду через Невский, инстинкт самосохранения несет меня, как парус, через лавину экипажей, людей, вот когда я знал одиночество»¹⁸².

Петербург и в те времена, и раньше знал многих молодых людей, мечтавших о писательской славе. Были и те, кому действительно удавалось невозможное, но большинство либо успокаивалось и занималось обычной службой, как Коноплянцев, либо знало средство от тоски и спивалось, ломалось, гибло, и едва ли не самое замечательное произведение на эту тему – почти не известный большинству русских читателей роман прекрасного и Пришвину очень близкого писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка «Черты из жизни Пепко», «где описывается «дурь» юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, похожее на мелкую городскую речку с ее разбитым чайником, дырявыми кастрюлями и всякой дрянью. И когда показывается дно, является оторопь от жизни, хочется вернуть себе «дурь». Делаются серьезные усилия, и дурь становится действующей силой, поэзией писательства (...) у Мамина блудный сын из богемы, больной, измученный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь со своим краем»¹⁸³.

Но прежде чем из богемы выпасть, надо было в нее попасть. А Мамин-Сибиряк сыграл в судьбе Михаила Михайловича роль удивительную. В 30-е годы Пришвин был одним из членов комиссии по литературному наследию автора «Приваловских миллионов» и чудесных детских рассказов про Серую Уточку, был хорошо знаком с его племянником Удинцевым, и именно Удинцев привел в дом Пришвина Валерию Дмитриевну – вторую жену писателя, воплотившуюся Марью Моревну, озарившую последние годы пришвинской жизни.

Но не будем забегать вперед. Все это было еще очень и очень далеко, Валерия Дмитриевна была пятилетним ребенком, дом в Лаврушинском переулке в Москве, где они потом жили, не был еще построен, а Пришвину было очень худо.

Снова, как в тюрьме, приходили мысли о самоубийстве, и в Дневнике Пришвин назвал эти годы «временем голодной озлобленности» и никогда позднее не вспоминал молодость как сладостное и приятное время. Но именно тогда он написал свой первый, не сохранившийся и нигде не напечатанный рассказ «Домик в тумане».

Первый рассказ писателя, особенно состоявшегося писателя, – это своеобразный камертон. Он определяет будущее своего создателя, и, читая «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» Достоевского, представляешь, как родятся позднее «Братья Карамазовы» или «Преступление и наказание».

¹⁸² Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 217.

¹⁸³ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 364.

А «Домик в тумане» был, судя по всему, историей об обитателях невзрачного питерского домика, их каждодневных горестях и радостях, рассказ очень традиционный, а литературную судьбу, литературное счастье свое Пришвин нашел на иных, негородских путях.

Первое время в Петербурге он жил без жены, и эта жизнь казалась ему более привольной – но Ефросинья Павловна однажды, не зная даже пришвинского адреса и, следовательно, вопреки его воле, разыскала А. М. Коноплянцеву, с женой которого на глазах у Ефросиньи Павловны и самого Александра Михайловича через полтора десятка лет вспыхнет у Пришвина роман, а тот привел ее к мужу. Так кончилось неудачей первое пришвинское бегство от своей Ксантиппы.

С ее приездом легче не стало. Их жизнь в Петербурге по-прежнему была очень жестокой. У Пришвиных родился и сразу же умер первый сын, маленький Сережа, в 1906-м родился Лев, и вот этот год, когда молодому литератору исполнилось тридцать три, оказался для Пришвина поворотным – то, к чему он так долго и мучительно шел, начало приносить первые плоды.

Произошло это благодаря событию на первый взгляд ничем не примечательному – на охтенских огородах он познакомился со своим соседом, бывшим фельдшером, а впоследствии этнографом Ончуковым и тот посоветовал молодому человеку отправиться на Север за сказками.

«Я выбрал себе медленный, какой-то тележный этнографический путь к литературе, смешной для блестящего таланта», – вспоминал позднее писатель.

Так Пришвин собрался в свое первое путешествие – потом их будет очень много, он объедит почти всю страну и напишет о Дальнем Востоке, Средней Азии, Кавказе, Крыме, Русской равнине так, словно в этих краях много лет прожил – но сердце его навсегда будет отдано Русскому Северу, чем особенно он дорог пишущему эту книгу.

Ончуков познакомил его с академиком Шахматовым, одним из самых великих русских ученых прошлого столетия, тот научил Пришвина приемам записи фольклора, и Михаил Михайлович отправился в путь.

О своей первой книге Пришвин писал: «Объявив войну чужой мысли в себе, я попробовал писать повести, но они мне не дались все по той же причине: мешали рассуждения. (...) Пропутешествовать куда-нибудь и просто описать виденное – вот как я решил эту задачу – отделаться от "мысли". Поездка (всего на 1 месяц!) в Олонецкую губернию блестящим образом разрешила мою задачу: я написал просто виденное, и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя себе всю глубину моего невежества в этой науке.

Только один этнограф Олонецкого края Воронов, когда я читал свою книгу в Географическом обществе, сказал мне: "Я вам завидую, я всю жизнь изучал родной мне Олонецкий край и не мог написать и не могу.

– Почему? – спросил я.

Он сказал:

– Вы сердцем постигаете и пишете, а я не могу"»¹⁸⁴.

Пришвин близко к сердцу принял увиденное на Севере и наложил на это искреннее и глубокое впечатление ту образность, которая существовала в его растревоженной поэтической душе – хотя первая книга выгодно отличается от последующих строгостью и отсутствием того «ячества», которое так раздражало Соколова-Микитова (и не одного его).

«В краю непуганых птиц» – это бесхитростный, немного сентиментальный (Р. В. Иванов-Разумник, напротив, уверял, что повесть написана с «намеренной плохо удающейся суховатостью»¹⁸⁵) в духе Руссо очерк северной жизни России начала минувшего века, путь повест-

¹⁸⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 157.

¹⁸⁵ Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан. С. 29.

вователя прошел по тем местам, где во времена раскола возникло крупное старообрядческое поселение Выгореция, в середине девятнадцатого века разогнанное Николаем Первым. Но было в этой книге что-то, выбор материала, язык, интонация, бережная позиция рассказчика, сумевшего найти такое положение, чтобы не отстраниться вовсе и не заслонить собою описанный материал – было что-то, приближавшее эту книгу к высокой литературе.

Очерки Выговского края – если не считать маленькой главки «На Угоре», написанной вместо предисловия, – начинаются, как это ни странно, с Берлина, где после рабочего дня и по выходным отводят душу на маленьких клочках земли бедные жители большого города. Именно от такой дачной жизни, неважно, берлинской или петербургской, спасается, бежит повествователь, и этот зачин имеет и символическое значение, ибо знаменует собой противопоставление мира города и природы, культуры и первозданности, на утверждении и преодолении которого вырастет вся пришевинская философия жизни.

На пароходе через Ладожское и Онежское озера он добирается до Петрозаводска («мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет»), а оттуда до Повенца («Повенец – всему миру конец»), по пути описывая публику – священника, старичка-полковника, женщину с маленькой девочкой на руках. Пока что это еще очень похоже на Сергея Васильевича Максимова, может быть, немножко живее и одновременно неувереннее, однако те сорок семь лет, что отделяют «Год на Севере» от пришевинских очерков, не проходят бесследно. Вот сельский батюшка посмеивается над настоятелем Климентского монастыря, у которого тридцать шесть коров и двадцать монахов, вот появляется мальчик, которого родители за чудесное выздоровление по обету посылают в Соловецкий монастырь, юноша отправляется с большим религиозным подъемом и... остывает к вере.

Традиционные формы русской жизни приходили в упадок, не было прежнего благоговения, и пытливые интеллигентные умы себе на беду искали новые формы, сосредотачивались на недостатках, темных сторонах национальной жизни и не ценили ее устойчивых светлых сторон. В отказе от православия и поиске некоей новой религии и состояла интрига дореволюционной жизни писателя, и одно лишь его признание, что «пониманию религии русского народа» он учился у Мережковского и Гиппиус¹⁸⁶, много чего стоит и объясняет. Сильнее всего эта тяга к декадентству сказалась в третьей из пришевинских книг «У стен града невидимого», целиком посвященной поискам иной, лучшей веры, желанию постичь сектантскую Русь, собирающуюся возле ушедшего под воду светлого града Китежа.

А пока путь его лежал на полночь. Из Повенца, где для всех мир заканчивался, а для Пришвина только начинался, писатель отправился к Масельгскому хребту, через который проходит водораздел между Балтийским и Белым морями. Так же часто, как Пришвину на его пути озера, читателю встречаются в тексте географические описания, очень точные, емкие, недаром через несколько лет после опубликования книги Пришвин будет принят в Географическое общество, а советский географ, младший современник писателя, профессор Ю. Саушкин признается, что он и его коллеги называли Пришвина «писателем-географом» – «главным образом потому, что он необычайно тонко и верно понимает, чувствует и изображает географию нашей страны»¹⁸⁷.

И действительно, пришевинские читатели – не гуманитарии, не филологи, не эстеты, а весьма далекие от экскурсов в сектоведение и размышлений о русской интеллигенции Серебряного века люди, ценившие в Пришвине глубочайшее знание и чувство природы, и именно к ним он вернется через много лет своих литературных походов в стане засмысленных интеллигентов и на них сделает свою писательскую ставку («Сколько под моим влиянием выросло

¹⁸⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 30.

¹⁸⁷ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 789.

в нашей стране отличных молодых людей: капитанов, исследователей, путешественников, геологов, охотников»¹⁸⁸).

Озера, реки, острова, водопады, скалы, салмы, сельги, луды, корги – он внимателен к подробностям пейзажа, местным словечкам, которые выделяет курсивом и объясняет, к названиям ветров и с удовольствием их перечисляет – шалонник, летний, сток, побережник, обедник, торок, жаровой.

Автор чувствует себя очень свободным в этом повествовании и ничего не стесняется – книга как бы пишет сама себя – верный признак всякого истинно талантливого произведения (впоследствии схожими словами Пришвин охарактеризует и свою работу над «Кашеевой цепью»: «Роман пишется с пугающей легкостью, как будто спихнул в оттепель ком снега и он бежит вниз, наворачиваясь сам на себя»¹⁸⁹), Пришвин только кое-где подправляет ее течение, в ней совершенно нет сделанности, вымученности, искусственности и уж тем более журнализма – при очевидной заданности темы Пришвин выступает как художник.

Когда ему требуется, он вставляет в текст довольно длинные цитаты современных ученых (Е. Барсова), приводит народные стихи, описывает свадебные и похоронные обряды, много времени уделяет рыболовецкому промыслу, вешнему, осеннему и зимнему, бурлачеству, рубке леса и лесосплаву, листоброснице (неведомой жителям средней полосы поре, напоминающей сенокос, с той лишь разницей, что женщины собирают березовые листья и зимой кормят ими коров), пахоте, упоминает вскользь строительство Онежско-Беломорского канала – все это зерна будущих пришвинских книг.

И один из самых трогательных и важных персонажей «Края» – старик Мануйло, который рассказывает рыбакам и лесорубам сказки про царя, «с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик», рассказывает, пока все не уснут, а если не спит хоть один, рассказывает и ему и, только исполнив свой долг, засыпает. Чем не идеальный писатель и чем не подлинное литературное творчество, воспринимаемое как желанная служба!

Он удивляется тому, как сосуществуют в крестьянском быту языческие и христианские обычаи, и христианские кажутся ему вынужденной уступкой, а настоящие властители этого края – колдуны, к которым его влечет куда больше, чем к православным монахам.

Они управляют миром, назначают, кому жить, кому умирать, кому сколько поймать рыбы и убить зверя, они принимают разный облик. Вот колдун поймал водяного и за то, что не бросил озерного царя в печку, потребовал для себя столько рыбы, что разбогател. А в «Охоте за счастьем» Пришвин припоминает, как вступил с одним из колдунов в состязание, кто кого перепьет, и когда противник упал без чувств, вытащил у него заговор, переписал и рухнул рядом.

Он был внимателен не только к природе – в «Краю» немало ярких образов людей, и один из самых пронзительных – вопленица Степанида Максимовна, профессиональная плакальщица; еще один замечательный образ – старик Иван Тимофеевич Рябинин, сын знаменитого Рябинина, у которого записывал былины Гильфердинг.

Книга была замечена и имела успех (в том числе и денежный, Пришвин получил шестьсот рублей золотыми), и эта первая литературная победа, пусть даже автором впоследствии отчасти преувеличенная и превращенная в своего рода легенду, значила для вчерашнего неудачника необыкновенно много. Но успех надо было закреплять, двигаться вперед и постоянно зарабатывать на жизнь, содержать семью; начинающий литератор находился в положении крайне неопределенном, но действовал осмотрительно и умело, вырабатывая определенную – как нынче принято говорить – писательскую стратегию.

¹⁸⁸ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 379.

¹⁸⁹ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 7.03.1927.

Почему Пришвин свернул с этнографического пути и потянулся к декадентам? Почему этот умный, глубоко чувствующий здоровую природу и привязанный к земной жизни зоркий и чуткий человек, написавший прекрасную реалистическую книгу, оказался в кругу людей со столь специфическим мировоззрением? Что потянуло его к сектантам?

Вопрос это далеко не праздный, ибо не одного Михаила Михайловича касается. В «Журавлиной родине» Пришвин опишет свой переход от наивного реализма в декадентский стан так: «Свою первую книгу этнографическую «В краю непуганых птиц» я писал, не имея никакого опыта в словесном искусстве. Против всех, писавших потом о моих книгах, один М. О. Гершензон сказал мне, что эта первая книга этнографическая гораздо лучше всех следующих за ней поэтических.

Я приписал такое мнение чудачеству М. О. Гершензона, который, казалось мне, всегда и во всем хотел быть оригинальным. И только теперь, когда судьба привела в мою комнату В. К. Арсеньева, автора замечательной книги «В делях Уссурийского края», и я узнал от него, что он не думал о литературе, а писал книгу строго по своим дневникам, я понял и Гершензона, и недостижимое мне теперь значение наивности своей первой книги. И я не сомневаюсь теперь, что, если бы не среда, заманившая меня в искусство слова самого по себе, я мало-помалу создал бы книгу, подобную арсеньевской, где поэт до последней творческой капли крови растворился в изображаемом мире».

Признание замечательное во многих отношениях, и особенно интересна в нем мысль о том, что в декаденты Пришвина заманили, как в секту.

Этой же концепции придерживается и В. Курбатов (пришвинский модернизм он уподобляет неудачному бегству Курымушки в Азию) – однако, как и всякий мемуарист, в более поздних воспоминаниях и уж тем более подцензурных художественных текстах Пришвин вольно или невольно исказил, подправил реальную картину своей литературной молодости.

В более откровенном Дневнике той же самой поры, когда писалась «Журавлиная родина», встречаются признания иного рода.

«Я не был декадентом-эстетом, но презирал народническую беллетристику, в которой искусство и гражданственность смешивались механически. И потому я искал сближения с теми, кого вначале называли декадентами, потом модернистами и, наконец, символистами».

К декадентству Пришвин пришел сам и, видимо, не прийти не мог.

Помимо отталкивания от народнических, семейных традиций, что-то еще глубоко личное, берущее начало из детства, его туда манило, волновало душу. Отец с голубыми бобрами, таинственная итальянская родственница, собственная изломанная жизнь, война духа и плоти? Как знать... Но уже в следующей своей книге «За волшебным колобком» (для писателя вторая книга зачастую важнее первой именно потому, что она подчеркивает, доказывает неслучайность его занятия литературным трудом) автор поторопился развить успех первой книги. Перед нами теперь не просто впечатление путешествующего по Северу горожанина, петербуржца, но обращение к своему детству, к той поре, когда елецкий гимназист убежал в Азию. Это и возвращение блудного сына к природе, и достижение ребяческой мечты, и соединение того разрыва, который с ним приключился в отроческие годы и мучил всю жизнь.

Вот почему художник должен быть простодушен, как дитя, вот что вызревало в Пришвине долгие годы отрочества и затянувшейся молодости, медленно в нем перегорало – реальность сочеталась со сказкой и завязывались все узлы. Но при этом Пришвин очевидно торопился включить себя в литературную ситуацию двадцатого века, так чтобы написанное оказывалось поводом для повествования об ищущей личности, о хождении интеллигента в народ, и не случайно к главе, посвященной Соловецкому монастырю, дается эпиграф из самого что ни на есть декадента Константина Бальмонта:

«Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому»¹⁹⁰.

И все же, если сравнить изображение северной обители в двух пришвинских книгах, можно увидеть огромную разницу. В первой Соловецкий монастырь – прародина Выговской пустыни, их связь для писателя несомненна и органична, как органична связь между старообрядческой культурой и жизнью людей в птичьем краю. Во второй описание монастыря превращается в карикатуру.

Северная природа как бы «не доразвилась до состояния греха» – замечательно сказано, но дальше читаем о самой обители: «Это гроб, и все эти озера, зеленые ели, весь этот дивный пейзаж – не что иное, как серебряные ручки к черной, мрачной гробнице».

Белокаменный соловецкий монастырь менее всего похож на гроб, скорее уж – на пушкинский сказочный остров из «Сказки о царе Салтане», вдруг выросший среди морских волн, но, кажется, здесь на впечатление путешественника давит груз книжной культуры, чужой мысли, которой он успел набраться за несколько петербургских лет и от которой впоследствии пытался освободиться. И прежде всего – мысли розановской с его яростным неприятием монашества.

Именно вслед за Розановым путешествующий Пришвин говорил в повести о «двух богах» – светлом и темном – идея, которая странным образом отзовется в переломном для него 1940 году.

«Черный» Бог-Отец – это «какой-то особенный, мрачный бог», «беспощадный, жестокий», он «лежит темным бременем» и изображен на старинных черных иконах, молиться ему заставляли автора в детстве, его образ появляется на первых страницах книги и ассоциируется с соловецкими богомольцами, которым писатель противопоставляет себя и свой путь за волшебным колобком: «Эти смиренные люди совсем и не могут поднять своей головы и посмотреть на него, они не видят ни света, ни солнца, ни зеленой травы и лесов, а только в страхе стелются по своей родной земле. Перед каждым из этих людей, хотя раз в жизни, развернулась темная бездна и ногой он уже ступил туда, но пообещался и вернулся назад. И теперь, испуганный, благодарный, преданный, спешит принести свою лепту».

«Если я пойду за ними, думаю, налево, то приду не на Север за Полярный круг, а в родную деревеньку в черноземной России, я приду в ее самую глубину и вперед знаю, чем это кончится. Я увижу черную икону с красным огоньком, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконе нет лика. Кажется, стоит показаться на ней хоть каким-нибудь очертаниям, как исчезнет обаяние, исчезнет вся притягательная сила. Но лик не показывается, и все идут туда, покорные, к этому черному сердцу России. Почему это кажется мне, что на этой иконе написан не Бог-Сын, милосердный и всепрощающий, но Бог-Отец, беспощадно посылающий грешников в адский огонь? Может быть, потому так, что кроткий огонек лампы на черной безликой иконе всегда отражается красным, беспокойным, зловещим пламенем?»

Черноземная деревенька – не случайна, это – Хрушево, елецкая родина, от которой он вторично убежал, и именно она связана с черными досками.

И есть другой бог, радостный, солнечный, знакомый автору-охотнику, который «сам приходит и веселит» и которого не нужно называть (черного назвать страшно). Это «зеленый, сияющий Бог», «Бог счастья, надежды, жизни», Бог, зовущий к творчеству, связанный с миром природы. Эти два образа протянутся через долгие годы его творческого пути.

Конечно же, декадентскими или розановскими (Розанов все же не декадент, но Пришвин валил всех литературных кумиров в одну кучу) поисками содержание первых пришвинских книг не исчерпывается, и в «Колобке» немало замечательных страниц – чего стоит, например, описание лопарей, невольно заставляющее вспомнить творчество Платонова, и то родствен-

¹⁹⁰ Ср. у Бунина: «Часто думалось мне за эти годы, будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как страдал бы он, если бы дожил до (...) гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов (...)» (Цит. по: А. Т. Твардовский «О Бунине» // Бунин И. А. Стихотворения. Рассказы. Повести. БВЛ. Т. 140. М., 1973. С. 17).

ное внимание, которое провозглашал Пришвин основой своего творчества. Но Пришвин не стал Максимовым или пост Максимовым, он не сделался ни этнографом, ни бытописателем, в творческих поисках его влек явно другой интерес, и волшебный колобок его катился совсем в иную сторону... Особенно отчетливо это проявилось в выборе друзей и литературной среды.

Глава VIII. Религиозно-философское общество

Писатель, как показывает насмешливая литературная практика, – это вовсе не тот, кто пишет романы, повести и рассказы или даже ведет всю жизнь дневник, писатель – тот, кто участвует в литературной жизни. Пришвин это понимал, но с писательским миром у приподнившегося новичка сложились престранные отношения.

Поначалу все шло неплохо. В 1907 году Пришвин познакомился с А. М. Ремизовым, хорошо известным в литературных кругах прозаиком, и более близкого человека из всей пишущей братии Михаил Михайлович не встретил за всю жизнь. В суровом 1933 году, когда эмигрировавший Ремизов превратился в закоренелого врага советской власти, Пришвин рискнул упомянуть его имя в положительном контексте («Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусстве»¹⁹¹). Интересно, что в «либеральном» 1957 году составитель примечания к шеститомному собранию сочинений отозвался на это упоминание суровой, чуть ли не «напостовской», синтаксически неудобоваримой тирадой:

«М. Пришвин здесь явно идеализирует облик Ремизова – символиста, реакционно настроенного писателя, понимавшего революцию как некий очистительный стихийный бунт во искупление грехов, совершаемых людьми, жизнь которых он воспринимал лишь как бесконечную цепь несуразностей, нелепиц, часто скрытых под мнимой разумностью поступков»¹⁹².

Любопытно: внешне (не внутренне, хотя границу эту зачастую провести нелегко) много что уступивший и много о ком переменявший мнение в советские годы Пришвин по отношению к Ремизову был неизменно тверд, и эта твердость, как ни странно, послужила ему своеобразной «охранной грамотой».

В 1945 году он записал в Дневнике: «Речь моя в Литературном музее о Толстом за упоминание Ремизова подверглась в партии особому разбору и осуждению. Раз Ремизов в «Правде» разъяснен как эмигрант, то как можно упоминать его имя и Толстого (имеется в виду А. Н. Толстой. – А. В.) называть учеником Ремизова.

Вспоминая прошлые свои выступления, я делаю вывод, что мое особое мнение, производящее шум, в конце концов приносило мне пользу, создавая хорошее положение советского юродивого, и обеспечивало тайное уважение всех. Я сделал в советское время редкую карьеру независимого человека»¹⁹³.

Но вернемся к истокам этой независимости. Сохранилось замечательное высказывание Ремизова об их первой встрече: «Мое впечатление – черная борода и черный зачес.

И растерянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: со мной такому никак!»¹⁹⁴

Однако вышла долгая, до самого отъезда Ремизова за границу писательская дружба.

«Ремизов... своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты»¹⁹⁵.

У них было немало общего и прежде всего – принадлежность к одному поколению русской интеллигенции, было свое «преступление и наказание» – юношеское увлечение марксизмом (у обоих в невероятно фантастической форме), за которое Алексей Михайлович расплатился тремя годами ссылки, получив в награду доступ к Русскому Северу. Именно там, в полуношном краю каждый из них родился как художник и обратился, хотя и очень по-разному, к фольклору, к сказкам и сказочным образам. Через Ремизова произошло приобщение

¹⁹¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 131.

¹⁹² Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 703.

¹⁹³ Воспоминания о Пришвине. С. 67–68.

¹⁹⁴ Цит. по: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 322.

¹⁹⁵ Воспоминания о Пришвине. С. 67.

Пришвина к писательским кругам, он был принят в «Обезьянью великую вольную палату» – любимое ремизовское детище, где шутовство мешалось с серьезностью, и это было чрезвычайно важно, потому что давало Пришвину возможность попасть в среду наиболее известных русских писателей той поры (куда входили поэты, писатели, ученые, художники: В. В. Розанов, М. О. Гершензон, А. М. Горький, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков, А. А. Блок, А. А. Ахматова, Петров-Водкин, П. Е. Щеголев и др.).

Пришвин считал Ремизова своим учителем в литературе («Через Ремизова я поверил в себя»¹⁹⁶), и когда в 1909 году для Алексея Михайловича настали черные дни – он был обвинен в плагиате (речь шла о сказках, записанных Ончуковым и пересказанных Ремизовым, а потом и напечатанных под его именем), не кто иной, как Пришвин вступился за Ремизова, отстаивая право писателя на «художественный пересказ». Об этом пришвинском заступничестве Ремизов оставил в своей «Кукхе» замечательный пассаж:

«Пришвин, известный тогда как географ своими книгами «В стране непуганых птиц» и «За волшебным колобком» (Изд. А. Девриена), только что выступивший «Гуськом» в Аполлоне, писал также в «Русских Ведомостях» и был на счету «уважаемых», Пришвин как эксперт – большая медаль из Географического Общества, действительный член – этнограф, географ, космограф! – пошел по редакциям с разъяснениями. И его выслушивали – сотрудник «Русских Ведомостей»! – соглашались, обещали напечатать опровержение, но когда он, вздохмаченный, уходил, опускали, не читая, автограф на память – в корзинку»^{197/198}.

Вот так – географ, сотрудник «Ведомостей», уважаемый, но... не писатель. Не случайно же Р. В. Иванов-Разумник в рецензии «Великий Пан» утверждал, что, опубликовав «Колобок» у Девриена, Пришвин «устроил книге похороны по первому разряду... Что такая книга могла остаться неизвестной или малоизвестной – это один из курьезов нашей литературной жизни»¹⁹⁹. А он – хотел быть писателем (замечательную подробность приводит в своих воспоминаниях К. Давыдов: Пришвин *скрывал* факт присуждения ему медали Географического общества), и репутация этнографа, которой Пришвин впоследствии так гордился, в те годы вряд ли могла удовлетворить честолюбивого автора, мечтавшего о литературной, а не какой-либо иной славе.

Но в течение нескольких лет даже Ремизов отказывал ему в этом праве, и Пришвин-писатель начался для него значительно позже.

«В литературу Пришвин выступил в 1907 году: его первые книги – географически-учебного характера – очерки: «В стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908)²⁰⁰. Но как писатель Пришвин начинается в рассказе «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 году. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913–1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей»²⁰¹.

¹⁹⁶ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 286.

¹⁹⁷ Вот как высказался на эту тему в «Окаянных днях» Бунин: «А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью! (...) Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно».

¹⁹⁸ Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. – Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 269.

¹⁹⁹ Путь к слову. С. 145.

²⁰⁰ Самое интересное, что в том же 1908 году А. Ф. Девриен издал еще одну, первую по времени написания и последнюю в этом издательстве книгу Пришвина «Картофель в полевой и огородной культуре», которую высоко оценили специалисты.

²⁰¹ Воспоминания о Пришвине. С. 65.

Это только в 1923 году в уже упоминавшейся книге «Кукха. Розановы письма», вспоминая из Берлина Россию, Ремизов думал прежде всего о Пришвине (и связывал-то его с Розановым!): «Из всех, ведь, писателей современников – теперь уж можно говорить о нас, как об истории – у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зверя, и никто так живо – теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду – никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух – вот он какой, ваш ученик Пришвин!»²⁰²

А в другой статье высказался и того определеннее: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России»²⁰³.

Но до этого, очень трудного времени надо было еще дожить, а в ту пору как бы много общение с Ремизовым Пришвину ни дало, палата (палатка, как звал ее Розанов, бывший в ОБЕЗВЕЛВОЛПАЛе старейшим кавалером вместе с Гершензоном и Шестовым) Алексея Михайловича была только шагом к подлинному литературному бомонду.

Ремизовский дом, куда был вхож Пришвин, представлял собой литературный салон, пусть не в таких масштабах, как дом Мережковских («И Гиппиус, и Сераф П. – хотели быть господами, героями в революционном движении, но это им не удавалось»²⁰⁴). Любопытно сравнить, что писал об этом доме Пришвин и что – сам Ремизов.

«В дом Ремизова, как на свет лучины с мелей сползаются раки, – приходили от семей своих самые странные люди (обезьяньи князья), и здесь они попадали в ловушку и возвращались домой на свои мели с презрением в душе к своему домашнему быту (...)... И педерасты ходили сюда, п<отому> что культ женщины (не самки) входит в дело педерастии (Кузмин плакал от ласковых женск. слов Сер. Павл.)»²⁰⁵.

А вот что записал Ремизов: «У нас всегда бывали «начинающие» или такие, у которых не ладилось в жизни, но когда выходили в люди и устраивались, очень понемногу-понемногу и пропадали.

На их место приходили другие – народ не переводился (...) Пришвин с Коноплянцевым»²⁰⁶.

И все же подлинный бомонд был учрежден Мережковскими, которых позднее, в 1927 году, Пришвин Ремизову противопоставлял. «Столбовую задачу Ремизова я бы теперь охарактеризовал как охрану русского литературного искусства от нарочито мистических религиозно-философских посягательств на него со стороны кружка Мережковского...»²⁰⁷

Однако в 1908 году именно туда – в стан к декадентам – лежал дальнейший творческий путь Михаила Пришвина.

«Между тем новая гроза нависла над моей свободой, распростившись органически с материалистически страдающей интеллигенцией, я сошелся с Мережковским – Розановым и всем этим кругом религиозно-философского общества. Под влиянием этих «идей» я поехал в Заволжье и написал книгу «Невидимый город» о сектантах. (...) В кружке нашем приняли мою книгу чрезвычайно благосклонно, и я слышал не раз, как маститые мистики сочувственно меня называли «ищущим». Под влиянием их я целую зиму провертелся в Петербурге среди пророков и богородиц хлыстовщины, написал (1 нрзб) религ. повесть «Саморок». И вдруг почувствовал, что опять погибаю в чужедумии среди засмысленных интеллигентов...»²⁰⁸

Как и в случае с Розановым, здесь имеется некоторая, быть может, сознательная хронологическая путаница, забывчивость, а то и стремление сбить будущего Друга-читателя с толку.

²⁰² Ремизов А. М. Указ. соч. С. 252.

²⁰³ Воспоминания о Пришвине. С. 66.

²⁰⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 98.

²⁰⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 97–98.

²⁰⁶ Ремизов А. М. Указ. соч. С. 254.

²⁰⁷ Воспоминания о Пришвине. С. 67.

²⁰⁸ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 158.

Произошло все отнюдь «не вдруг». Пришвин стал членом Религиозно-философского общества в октябре 1908 года, путешествие же состоялось летом того года, а книга «У стен града невидимого. Светлое озеро» вышла в свет в 1909-м. Таким образом, не путешествие состоялось после знакомства, а знакомство – после путешествия.

Это существенно, и иначе не могло быть. Молодому литератору, который позднее сам себя не без иронии в «Охоте за счастьем» аттестовал как «типичного заумного русского интеллигента», непросто было завоевывать место под нещедрым и капризным серебряновековым литературным солнышком.

Трудно сказать, каким в точности был пришвинский план, когда он отправлялся к Светлояру, но, как следует из книги В. Д. Пришвиной «Путь к слову», автора которой трудно заподозрить в недоброжелательности по отношению к своему герою, толчком к вхождению в петербургские литературные круги послужило знакомство писателя со стариком-сектантом, который попросил его не больше не меньше, чем передать поклон Мережковскому, и эту возможность Пришвин не упустил.

«...вспомнил, что в Китеже вспоминали Мережковского, я пишу ему про это письмо, и он мне отвечает немедленно и назначает час», – вспоминал в черном 1919 году и сам Пришвин обстоятельства знакомства.

В раннем Дневнике описывается, как первая встреча произошла:

«1908 г. 7 окт. Вчера познакомился с Мережковским, Гиппиус и Философовым... Как только я сказал, что на Светлом озере их помнят, Мережковский вскочил:

– Подождите, я позову... – И привел Философова, высокого господина с аристократическим видом. Потом пришла Гиппиус... Я заметил ее пломбы, широкий рот, бледное с пятнами лицо...»

Именно ей – Зинаиде Гиппиус – через некоторое время он отдал рукопись своей написанной по следам путешествия к Китежу третьей книги «У стен града невидимого». Несмотря на чрезвычайно интересный замысел – показать сектантскую Русь, в художественном плане то была, по-видимому, самая неудачная из ранних пришвинских книга, что признавал и сам автор, усматривая в ней «некоторое манерничанье... и романтическую кокетливость стиля»²⁰⁹. Но с точки зрения общественного интереса, громадной религиозной и апокалиптической напряженности, интереса к сектантству, она была в самое яблочко. А значит, и издателя можно было искать более серьезного, чем добрейший швейцарец Девриен, простодушно интересовавшийся у Пришвина, можно ли ему купить в «краю непуганых птиц» дачу, и, значит, открывался шанс переломить надменное общественное мнение на свой счет²¹⁰.

Увлечение сектантством, а особенно мистическим и прежде всего хлыстовством, было свойственно образованному и необразованному сословиям русского общества ничуть не меньше, чем марксизмом.

Секта хлыстов была одной из самых многочисленных в России. Хлыстовство возникло в восемнадцатом столетии и довольно быстро завоевало популярность в разных кругах русского общества. Хлысты учили, что Христос и Богородица могут приходить на Землю не один раз, воплощаясь в разных людях, и оттого иные из хлыстовских учителей называли себя христами – от искажения этого слова и пошло название самой секты. Хлысты объединялись в особые тайные общины, так называемые корабли, во главе которых стояли кормчие. На своих тайных сборах-радениях хлысты пели особые песни, впадали в молитвенный экстаз, призывая на себя сошествие Святого Духа, потом начинали скакать по горнице, истязать друг друга бичеванием, и, возможно, все это оканчивалось свальным грехом. Царское правительство и официальная

²⁰⁹ Контекст-1974. М., 1975. С. 319.

²¹⁰ Правда, с изданием все оказалось не так просто. В первых номерах журнала «Русская мысль» за 1909 год удалось опубликовать несколько глав «Града», но летом этого же года Пришвин жаловался Ремизову, что не может найти издателя, и размышлял о том, стоит ли издавать книгу за свой счет, заняв для этой цели деньги у сестры Лидии.

Церковь преследовали хлыстов, но уничтожить эту ересь не смогли, и когда в начале двадцатого века вышел закон о свободе вероисповеданий, хлыстовство вышло из подполья. Оно проявляло себя в самых разных формах и вызывало большой интерес у интеллигенции.

Назовем лишь несколько хорошо известных фамилий людей, интересовавшихся сектантской проблематикой в России: Вл. Соловьев, Вяч. Иванов, Н. Бердяев, А. Ремизов, С. Венгеров, Н. Минский, В. Розанов, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, М. Горький, М. Кузмин, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, а потому любое достоверное документальное произведение на эту тему было обречено на успех. Пришвин к тому же был талантлив, имел литературный опыт и имя.

Зинаида Николаевна, с которой позднее сравнит Пришвин охтенскую богородицу Д. В. Смирнову («Вторая Гиппиус по уму»), рукопись прочла, с автором побеседовала и отозвалась по принципу: да-нет не говорить, черного-белого не называть:

«У вас много вкуса, но много модности... Поймите красоту Капитанской дочки, эллинской статуи и вы поймете, что Евангелие не брошюра... Вы оттого не принимаете Христа, что боитесь смысла»²¹¹.

Не отсюда ли проистекает любимое пришвинское определение интеллигенции – засмысленная?²¹²

Едва ли г-жа Гиппиус, она же критик Антон Крайний, кривила душой. Ощущение маскарадности, некоторой условности первых пришвинских книг при всем их художественном обаянии шло в его творчестве по нарастающей именно по мере приближения и вхождения в Религиозно-философское общество. Это можно почувствовать, если сравнить «В краю непуганых птиц» и «У стен града невидимого».

В первой книге, когда автору для знакомства со староверами предлагают прикинуться ищущим, он отказывается: «Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христоробцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христоробцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия мне была не по душе».

В «Светлом озере» повторяется та же ситуация, но отношение к маскировке другое:

«Чтобы сойтись с ними, я перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения – искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие, для меня лишь этнографические ценности.

Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.

– Откулешный? Зачем?

– Ищу правильную веру».

Пришвин вряд ли сильно лукавил – поиск правильной веры в православной (то есть уже имеющей правильную веру) стране стал к началу двадцатого века явлением повседневным, на чем сходились и отшатнувшийся народ, и беспокойная интеллигенция. Пришвин не был исключением: и сектантство, и старообрядчество, которые он объединял в одно («Хлыстовство – это другой конец староверства. Это – неумирающая душа протопопа Аввакума, теперь

²¹¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 37.

²¹² Замечательно, что к брошенной Гиппиус идее о «Капитанской дочке» Пришвин вернулся много лет спустя: «Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология, а Петербург даже и официальное имя свое потерял; моя родина, непревзойденная в простой красоте, и что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней добротой и мудростью человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина "Капитанская дочка"» (7.9.1933. Пришвин М. М. Леса к «Осударевой дороге». С. 64).

уже глубоко равнодушная к своей казенной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть»²¹³), казались ему более глубоким и более народным явлением, нежели традиционное, «официальное» православие.

Здесь и таится основное отличие пришвинских книг от произведений Максимова и Арсеньева, которые не ходили на заседания сомнительных обществ и уж тем более на сектантские радения. Или Мельникова-Печерского, чиновника Министерства внутренних дел, крупнейшего специалиста по сектантству и расколу в прошлом веке, ни на йоту не отступившего от православия. А незадолго до Мережковского и Пришвина в этих краях побывал Короленко и написал о них повесть «Светлояр». Но Короленко остался для сектантов чужим, он природу описывал, а Мережковский стал своим («наш, он с нами притчами говорил»).

И Пришвин (во всяком случае его автобиографический герой-повествователь) в этом невольном выборе двух традиций примкнул к Мережковскому, который не то радовался, не то печалился (или, может быть, слегка кокетничал) из-за того, что только сектанты его и понимают. Вот и пришвинский разговор с немояками: «– Верно, – говорю я старику, – мы (именно так. – А. В.²¹⁴) тоже думаем, что по нынешним временам церковь не может быть видимой. Есть, – рассказываю я, – один большой, большой человек, который тоже за вас, тоже за такую церковь, граф...

Рассказываю учение. Слушает старик меня долго, внимательно. И волнует меня это *посредничество* (выделено мной. – А. В.) между двумя белыми стариками, там и тут».

Итак, хотя и не пришла Гиппиус от Пришвина и его книги в восторг, в Религиозно-философское общество он был зачислен, а в 1909 году сделал «доклад» на заседании другого знаменитого общества – Императорского географического – о своей поездке к Светлояру, поразив почтенную публику тем, что, не сказав ни слова и не обратившись к собравшимся с приличествующими словами, вдруг лег животом на эстраду и пополз, громко повторяя вслух:

«Ползут, все ползут... тут, там, везде. Мужчины, женщины – все ползут...»²¹⁵

Публика на этом чтении состояла не только из шокированных ученых мужей, о которых вспоминает мемуарист. По свидетельству другого очевидца этого театрального ползания В. Д. Бонч-Бруевича, автора знаменитой серии книг, посвященных изучению русского сектантства и будущего управделами ленинского Кремля, именно тогда произошло знакомство Бонча и укрепились связи Пришвина с главой петербургской хлыстовской секты «Начало века» – П. М. Легкобытовым, человеком, потрясшим молодого писателя, ибо вдруг оказалось, что за народной жизнью можно и не ездить за тридевять земель, а найти ее прямо здесь, на прямых улицах и проспектах Северной столицы.

«Он, – записал восхищенный Пришвин о Легкобытове, – для меня больше народ, чем, может быть, весь народ»²¹⁶.

Так интерес к сектантству в глухих углах России отозвался сектантством столичным, и Пришвин, легко и быстро с Легкобытовым познакомившийся и даже по-своему сдружившийся, получил новую порцию для наблюдений и размышлений о странной схожести двух сект – интеллигентской во главе с Д. С. Мережковским и простонародной во главе с П. М. Легкобытовым, хотя два вождя друг друга недолюбливали: Павел Михайлович звал Дмитрия Сергеевича «шалуном», а Дмитрий Сергеевич Павла Михайловича – «антихристом». И, надо признать, оба были правы (ср. также у Розанова в его «Апокалипсисе»: «Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает»²¹⁷), и в пору

²¹³ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 591.

²¹⁴ Ср. у Бердяева: «Мережковский никогда не говорит от я, он всегда говорит от мы» (Бердяев. Новое христианство. Цит. по: Эткинд А. Хлыст. С. 207).

²¹⁵ Путь к слову. С. 149.

²¹⁶ Пришвин о Розанове. С. 164.

²¹⁷ Розанов В. В. Указ. соч. С. 580.

великого братания интеллигенции и сектантской части народа почти по-ленински же завершал свое наблюдение над странным союзом петербургской элиты и хлыстов-немоляков: «Мы вышли на улицу: воплощение, искупление, папироски, женщины, похожие на актрис, эти священные поцелуи в лоб... Секта... И как это далеко от народа...»²¹⁸

Насколько глубоко был информирован Пришвин о том, что происходило в доме у Мережковских, и понимал ли он сам, до какой степени был недалек от истины, определяя круг Мережковского как религиозную общину, секту, сказать довольно трудно. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус были людьми осторожными и преданными конспирологии ничуть не меньше, чем охтенская богородица Дарья Васильевна Смирнова, в заборе у которой не было видно калитки. И хотя живо распространявшиеся в декадентской среде слухи о религиозных поисках и увлечениях знаменитой литературной четы не могли до него не дойти, все же вряд ли Пришвин знал Главное, как торжественно именовали свои обретения на религиозном пути супруги Мережковские (у которых Пришвин «учился пониманию религии русским народом»).

Вот что писала об этих эзотерических находках Зинаида Гиппиус:

«В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне неожиданно пришел Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал:

– Нет, нам нужна новая Церковь.

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоты и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких ко времени.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Васильевичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысли о Церкви приняли к сердцу, но не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа. (...)

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами. (...)

И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами, разделил нас. (...)»²¹⁹

Этим третьим, как известно, стал Д. В. Философов, и так образовалось легендарное «троебратство», где каждый был в ответе за двоих, однако тройка Гиппиус – Мережковский – Философов была не единственной. Что происходило в этих тройках, судить трудно, но «нерешенной загадкой пола все были отравлены. И многие хотели Бога для оправдания пола (...) Не знаю еще, было ли это нам в оправдание, в исцеление – или в суд и осуждение. Но либо одно – либо другое».

Для того чтобы сделать эти союзы более сакральными, Зинаида Гиппиус решила устроить по собственному чину литургию, описание которой занимает довольно много места в ее дневнике:

«И, прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу (...)

И первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки. И каждый целовал чашу.

Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова говорили, после же другое место читали из Евангелия.

И во второй раз встали и каждый дал каждому пить из чаши и каждый целовал чашу (...)

После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно: в лоб, в уста и глаза.

²¹⁸ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 33–36.

²¹⁹ Гиппиус З. Н. Дневники. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 138–139.

И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, чей на ком.

В то время рассвело, но не ясный был день, а мутный, серый, дождливый.
Но все-таки был свет»²²⁰.

Все это и было названо «Главным», открывалось очень немногим и продолжалось, то затухая, то разгораясь, привлекая новых адептов и теряя старых, свыше десяти лет.

В 1909 году, когда Пришвин довольно много с Мережковскими общался, религиозные поиски декадентской общины были в полном разгаре: «Всю прошлую зиму и лето мы работали над литургией и древние все изучали.

В эту зиму составили из них (...) не свою, но общую. Собственных молитв даже и нет, одна только из Четверга – «от всех». (...) Наша литургия – вся церковная, кроме священства. У нас трое – равны. И я Церковь больше люблю, имея Таинство».

В Дневнике З. Н. Гиппиус 1911 года есть описание того, как происходила эта литургия по новому чину: «В субботу вечером была у нас литургия. По составленной из многих старых. Все трое – разнослужашие, равнодействующие (...) Причащение так: каждый причащается сначала сам, под двумя видами, хлеб – вино, затем причащает рядом стоящего, из чаши, с ложечки, в соединении».

К сюжету этому мы еще будем вынуждены вернуться, но в ту пору ни на какие сборы в узком кругу Религиозно-философского общества Пришвина не допускали, не был он и на нескольких эзотерических собраниях с участием «самых верных», которые наделали немало шуму в Северной Пальмире и заставляли их участников неловко оправдываться, и хотя Михаил Михайлович заносил в Дневник все, что знал понаслышке, не случайно в дневниках и письмах самых известных литераторов тех лет имя Пришвина встречается крайне редко. Позднее, правда, Пришвин пытался представить дело иначе, называя себя равноправным участником литературной и религиозной жизни, и писал в Дневнике о том, что «в... Петербурге среди писателей было трое совершенно «русских»: Розанов, Ремизов и Пришвин», а в набросках к роману «Начало века» встречается и такое: «Заседание совета. Выделяется загорелый, сильный господин – провинциал Алпатов», но с точки зрения той поры включение и уж тем более выделение Пришвина (Алпатова) в этом ряду вызвало бы недоумение. Желание подправить историю было понятно и скорее всего (подобно сюжету с Розановым) вызывалось жаждой реванша; на самом деле, как ни благосклонно и сочувственно был принят в этом кругу маститыми мистиками Пришвин, «молодой писатель» ни в салоне Мережковского, ни в памяти его участников большого следа не оставил.

Ему и правда было там очень непросто. Он понимал, что у Мережковских собирается элита («старые закоренелые индивидуалисты-аристократы от литературы», как назовет он позднее Мережковского и Гиппиус), и чувствовал некоторую свою ущербность, провинциальность, если угодно.

Вот характерная жанровая сценка из заседания общества в широком составе. В ответ на призыв Гиппиус к смущенному дебютанту («что же вы молчите?») Пришвин начал говорить о каких-то волновавших его вещах и вдруг...

«– Боже мой, – сказал кто-то, – да ведь вы были рядовым марксистом. Вы об этом говорите.

Все этому засмеялись. По-моему, это был настоящий смех книжников и фарисеев, вообще филистеров, людей, никогда не бывших «рядовыми» и, значит, некрещеными»²²¹. И он – бросился защищать марксистов от нападков декадентов, используя вполне декадентские образы:

²²⁰ Гиппиус З. Н. Дневники. В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 89–100.

²²¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 62.

«И мы пошли за мир и женщину будущего в тюрьму. Допросы, жандармы, окно с решеткой, и свет в нем... Женщина будущего, кто она, мать, сестра, невеста, в сердце рядового, в его смятенной, смущенной душе рождается образ Прекрасной Дамы, – нужно быть рядовым!»

Человек самолюбивый и честолюбивый, что никак нельзя вменить ему в вину, с положением «ищущего, но не нашедшего», как звали его в кругах Мережковского, Пришвин вряд ли мог смириться. В том самом необыкновенно искреннем и серьезном письме-исповеди к покойной матери, которое я уже цитировал, говоря об отношениях с Ефросиньей Павловной, Пришвин так объяснял свое состояние не только в начале литературного пути, но и тогда, когда он был уже признанным писателем и автором трехтомного собрания сочинений:

«Знаешь, я как-то робею перед другими писателями, мне кажется, что надо на что-то опираться. Но раздумывая о написанном ими раньше, я вижу, что ошибаюсь: и они тоже опираются на иллюзию (вдохновение), и они тоже все испытывают это состояние без опоры»²²².

Он ведь был отнюдь не юношей, когда переступал пороги литературных гостиных или редакций толстых журналов. И вхождение его в литературу не было ни стремительным, ни ослепительно ярким, как у литературных баловней модернизма, не было у него на счету ни одного серьезного литературного знакомства со стариками, как у Бунина с Чеховым или у Горького с Толстым. Знаменитый Бердяев был его ровесником, Блок был Пришвина моложе на семь лет, Ремизов – его учитель – на четыре. И Белый, и Ахматова, и Иванов-Разумник – все они были куда более молодыми и известными. А блестящая эпоха Серебряного века тем и была знаменательна, что ее творцы вырастали на глазах, молодость, талант, слава – были едва ли не синонимами, стариками считались Брюсов и Анненский, и вот появляется этот странный угловатый человек – сектант не сектант, поэт не поэт, этнограф не этнограф, годный разве только на то, чтобы с ним «поваландаться у хлыстов», как небрежно отмечал в Записных книжках Блок.

Разумеется, литература – не бег наперегонки в разных возрастных группах и не соревнование по датам рождений, в конце концов и академик Бунин сильно уступал своей славой Горькому или Леониду Андрееву, но никогда не общался много с людьми, которые были ему неприятны, и в «Окаянных днях» позволил себе сказать, что об этих людях думал: «В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении?»

И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание».

По большому счету никто из этих «гениальных» декадентов и не декадентов Пришвина всерьез не воспринимал. Когда в середине 20-х Горький из Италии принял петь дифирамбы его прозе, Пришвин совершенно искренне откликнулся на это восхваление грустными строками о том, что слава не радует его так сильно и не столь нужна, как была нужна тогда, в пору молодости и неуверенности в себе. «20 лет назад написал «Колобок» и никто его не читал. Теперь же, когда началась какая-то притупленность – начинают меня замечать»²²³²²⁴.

А еще позднее, в годы Второй мировой войны, когда уже скончался в Париже Д. С. Мережковский, написал: «Вспомнив по случаю «машинного вторжения» времена Мережковского, увидел себя самого собакой, умными глазами следящей за речью людей.

Стыдно и больно!»²²⁵

Несмотря на свою эксцентричность, революционную биографию, полукочевой образ жизни и «лесную жену», Пришвин был для модернистов чем-то чересчур пресным, «статуе-

²²² Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 67.

²²³ Ср. также у Соколова-Микитова: «Широкая известность писателя Пришвина пришла не скоро, первые его книги знал лишь небольшой круг избранных читателей. В те годы гремели иные, забытые теперь писательские имена» (Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 62).

²²⁴ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 20.02.1926.

²²⁵ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 475.

образным», как выразился Розанов, «вам 16 лет, вы наивный человек», сказала Гиппиус, ему не хватало не таланта, нет, но «гениальности», блеска, сверкания, личного магнетизма, которым щедро были наделены окружавшие его люди, и постоянно надо было им что-то доказывать («Ясно вижу себя корявеньким, неладным топориком, определившим все мои отношения с литераторами», – писал он позднее в «Глазах земли»). Мало того что Пришвин казался окружающим духовно незрелым подростком – он поразительно долго оставался начинающим писателем, очеркистом, журналистом, при том, что внутренний его рост был огромным, о чем свидетельствует прежде всего Дневник. А если прибавить к этому еще и непомерное самолюбие (немало из-за него претерпев, в зрелые годы он замечательно написал: «Мне как-то боязно решиться ампутировать мой раненый орган самолюбия, мне кажется, что без него я лишусь самой способности крутить папиросу необходимого литературного тщеславия и буду просто добродетельным человеком»), мы увидим человека весьма несчастного и неуверенного в себе (идеальная кандидатура для поступления в секту).

Тот же Блок, устным отзывом которого на свою книгу «За волшебным колобком»: «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то»²²⁶ Пришвин так гордился и, по-разному расставляя акценты, его неоднократно передавал (ср. в Дневнике 1922 года: «Это не поэзия, то есть не одна только поэзия, тут есть что-то еще»), довольно холодно, хотя и очень деликатно – тем более что Пришвин сам попросил его об этой рецензии – отозвался о книге «У стен града невидимого».

Отдавая должное языку молодого писателя («М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей «показной» и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало этого, он умеет показать, что богатый русский словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатство русского языка доселе далеко еще не исчерпано»), Блок заключил: «К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это – богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения»²²⁷.

То есть, если переводить с условно-критического политкорректного языка, – это не литература.

Не менее жестка была и Зинаида Гиппиус, которая прямо использовала фигуру Пришвина для того, чтобы проиллюстрировать важные для нее тезисы: «Личного, личностей сейчас очень мало в нашей прекраснейшей литературе. Оттого так и однообразен удивительно-тонкий приятный стиль современных писателей художников. Отличить сразу Городецкого от А. Толстого, Ауслендера от Городецкого или даже от Чулкова – очень трудно. Я уже скорее отличу от Пришвина (и то не сразу), но потому, что Пришвин особенно характерен, его «бессодержательность» особенно откровенна; при обычной яркости и образности языка, при всей художественности его описаний он сам до последней степени отсутствует; и это делает его очерки или дикими от бессмыслия, или просто-напросто этнографическими»²²⁸.

Собственно говоря, открыл, или, как бы мы сегодня сказали, раскрутил Пришвина не Мережковский, не Блок и не Гиппиус, а Р. В. Иванов-Разумник, написавший в 1910 году уже не раз упоминаемую нами апологетическую статью «Великий Пан», в которой прямо отталкивался от литературной неизвестности своего героя и пенял ей недругам: «С каким радостным чувством читаешь книги М. Пришвина. Имя это, повторяю, пока мало кому известно, и вряд ли много говорит оно даже тем, которые имя это знают»²²⁹.

²²⁶ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 9–10.

²²⁷ Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1965. Т. 5. С. 651.

²²⁸ Русская мысль. 1912. № 5. С. 27.

²²⁹ Иванов-Разумник Р. В. Великий Пан. С. 26.

Мало говорит, потому что, по мнению Разумника Васильевича, Пришвин имел неправильную репутацию «почтенного этнографа, объективного исследователя народной жизни и творчества, публициста старой, московской либеральной газеты...», и в своей статье Иванов-Разумник попытался эту ситуацию переломить: «Многим ли придет в голову, что эта характеристика не имеет ничего общего с действительностью, что перед нами не объективный этнограф, а чуткий и тонкий художник, быть может, субъективнейший из всех современных, художник в этнографии, художник в своей псевдо-публицистике. Поистине: дух дышит, где хочет...»

Но это только в 1910 году, и это Иванов-Разумник, которого декаденты самого ставили не слишком высоко и который, к слову сказать, через год-другой вдребезги разругался с Религиозно-философским обществом, в своей статье (вернее, статьях – позднее он объединил их в одну) «Моховое болото и клопные шкурки» обвинив почтенное собрание в «беспочвенности и надпочвенности», в «бесплодном плетении словесных узоров» при «страшной жажде почвы, земли, живой крови, духа жизни» и при этом, что характерно, побивал всех врагов с помощью дубинки, в роли которой оказалась повесть Михаила Михайловича «Никон старокоренный».

Пришвина это прямо не коснулось, хотя он в противостоянии Разумника Васильевича с элитой был все-таки ближе к религиозно-философам, но кто мог тогда представлять истинную цену путешественника в «гордо замкнутом кружке декадентов», где Пришвин вращался, как неопит среди хлыстов, кроме разве что Ремизова, тем более что и тот очень долго относился к Михаилу Михайловичу снисходительно?

На заседаниях общества этнограф наш больше помалкивал, дневников его, разумеется, никто не читал, а дореволюционная проза Пришвина, как бы хороша она ни была и как ни нахвалил ее будущий идеолог скифства и враг Плеханова, не могла конкурировать с лучшими образцами его современников, по крайней мере, по степени известности.

Чем как не робостью и неуверенностью в себе объяснить то, что в 1914 году он написал Бунину: «Меня очень радует ваше приглашение издавать свои книги у вас. Мне было бы много приятнее при помощи вашего издательства стать на собственные ноги»²³⁰.

Неужели семи лет в литературе, нескольких книг и трехтомного собрания сочинений было недостаточно для того, чтобы подняться? И чем отличается это благодарное почтительное признание от первых записей 1908 года?

«7 окт. 1908 г. Я уже член совета р.-ф. общества... Мне открывается что-то новое... большое, я понимаю значительность этого знакомства. Но многое мне не ясно... Оттого что я не чувствую одинаково... Мне кажется у них много надуманности...»

«Литературная жизнь вся на булавках».

А с другой стороны – «Появился Пришвин, вид у него гордости необычайной, как некий мышь в крупах, так смотрит», – писал в 1912 году Ремизов Иванову-Разумнику²³¹, и очевидно, что эта гордость была оборотной стороной уязвленности.

Впрочем, в 1914 году Пришвин написал замечательный во всех отношениях очерк «Астраль», где есть слова, раскрывающие его мировоззрение в декадентские годы: «Я был бы совершенно неправ, если бы все современное «религиозно-философское движение» в интеллигенции характеризовал бы психологически как стремление повертеться с хлыстами. Совсем даже напротив, тем оно и отличается от всех прежних движений, что стремится отстоять внецерковную культуру, которой тайно враждебно православие и явно враждебно хлыстовство, но для живого человека и нетерпеливого крайне тягостна эта ученая религия, в которой «Христос и Антихрист» обратились в героев исторического романа. Признавая разумом всю огромную ценность задач людей, взявших на себя крест спасти во Христе мировую культуру, втайне, серд-

²³⁰ Литературное наследство. Бунин И. А. М., 1973. Т. 84. Кн. 2. С. 461.

²³¹ Русская литература. 1995. № 3. С. 161.

цем, я, как понимаю теперь, был с людьми, протестующими этому движению, и горел любопытством посмотреть, как они, такие ученые люди с лысынами и в очках, будут вертеться с хлыстами».

Здесь Пришвин, пожалуй, впервые весьма корректно, но очень прямо и открыто выступил против Мережковского и обозначил собственный путь – живого, а не книжного человека, – однако окончательно неуверенность в себе пропала через много лет, когда не осталось на Руси декадентов, а оставшиеся были не в чести. К той поре относится хлесткое и проясняющее положение вещей признание, сделанное почти двадцать лет спустя после того, как он попадает в «секту» Мережковского – секту «служителей красоты», как называл Пришвин декадентов.

«6 мая 1926. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга».

Любопытно и то, что эта цитата из Дневника, опубликованная в восьмом томе собрания сочинений Пришвина, в полном, пока еще не опубликованном тексте Дневника, помещена в контекст пространных размышлений Пришвина об отношениях декадентов и проституток (эту тему подсказали ему воспоминания Горького о Блоке, в частности, то место, где Горький пишет, как проститутка заснула у Блока на коленях и он не посмел ее потревожить, но потом все равно заплатил двадцать рублей и тем ее оскорбил).

Впрочем, по отношению к декадентству Пришвин был еще более противоречив и разноречив в оценках, чем по отношению к В. В. Розанову, В. П. Измалковой, С. П. Ремизовой или Е. П. Смогалева вместе взятым. То он полагал, что «декадентство было самым блестящим периодом русского искусства» и «что бы враги ни говорили о религиозно-философских собраниях, а историк отметит это искание Бога перед мировой катастрофой». То вдруг у него вырывалось: «Жалкое искусство нашего времени, краденое... и пр.».

То сравнивал его в «Журавлиной родине» с болотной обманкой, на первый взгляд привлекательной, но чудовищно опасной («Это искусство было похоже на удивительное сплетение белоснежных купав и золотистых кувшинок, прикрывающих иногда на болотах бездонные окнища»).

Декадентство для него – это «литература Европы, всех ее эпох, опрокинутая в чан русского варварства (...) очень похоже на революцию большевизма с ее идеологией европеизации».

А то встретится и вовсе парадоксальное, противоречащее тому, что говорил о декадентах и их собраниях: «Мережковский и хлысты спасали культуру через Эрос. (...) Быть может, никогда литература так близко не стояла к народу, как в эпоху декадентства».

Но тут же, через страницу: «Декаденты, вероятно, литераторы, а я не литератор...»

Все вместе эти наблюдения и мысли являют собой картину довольно противоречивую, если не хаотичную.

Но не исключено, что этот хаос был заложен в некую декадентскую программу. Не случайно же, когда один из членов Религиозно-философского общества сказал, что хочет заняться «систематизацией сектантского хаоса», то встретил суровую отповедь самого Мережковского: «Но мы как раз и дорожим этим хаосом»²³².

²³² Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 34.

Глава IX. Конец света

И все же, если не литератором, то кем он был – Михаил Михайлович Пришвин, более известный как географ и, по собственному признанию, спасавшийся в этнографическом от психологического и субъективного?

В дневнике двадцатого года встречается такая запись: «Материалы к биографии: Четыре полосы: 1) бегство в Америку, 2) марксизм, 3) Париж, 4) литература.

Когда вдумаешься, почему я не стал, как Пржевальский, то помехой всюду является «она», т. е. трепетное стремление к женщине несуществующей. Это непростое отношение к действительности и заграждало путь к действительности (неврастения).

«Америка» и литература – сильный человек, открыватель новых стран. Париж и марксизм – жертвенность, женское начало, способность отдаться»²³³.

«Она» – это пришвинская Прекрасная Дама, Марья Моревна, а затем и В. П. Измалкова, по которой он не переставал томиться, – по-видимому, самый тесный, интимный и верный момент сближения писателя с декадентством как мироощущением, когда реальной жизни предпочитается, навязывается мечта, которая служит мощнейшим творческим стимулом. С подобным мировоззрением писатель сведет счеты годы спустя в «Жень-шене» и «Фацелии»...

Но помимо Прекрасной Дамы было еще одно обстоятельство. Если от марксизма Пришвин вроде бы избавился, то со второй русской болезнью – притяжением Апокалипсиса – все обстояло гораздо сложнее. Об апокалиптических настроениях в русском обществе начала века написано много, и к герою нашего исследования все это имеет самое непосредственное отношение. Может быть, именно апокалиптичность сознания и сблизил его когда-то с декадентами, и оттого созвучны его настроению были идеи апокалиптического христианства, которое нередко считают русским религиозным возрождением и которое дало целую плеяду блестящих имен в философии и литературе.

Так, развивая мысли Вл. Соловьева с его идеей торжествующего христианства и объединения Церквей, позволяющей победить Страшного Зверя, сильно повлиявшей на символистов и предопределившей теургический характер их литературы, в одной из программных статей А. Белый писал:

«Русская поэзия, перебрасывая мост к религии, является соединительным звеном между трагическим мирозерцанием европейского человечества и последней церковью верующих, сплотившихся для борьбы со Зверем. Русская поэзия обоими своими руслами углубляется в мировую жизнь. Вопрос, ею поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град Новый Иерусалим. Апокалипсис русской поэзии вызван приближением Конца Всемирной Истории»²³⁴.

Пришвину все это было понятно и близко, не случайно он оставил об авторе «Петербурга» и «Серебряного голубя» (книге Пришвину чем-то очень созвучной, не зря же во сне являлась ему Ефросинья Павловна в образе хлыстовской богородицы) весьма примечательные строки: «Когда думаю о литературе, – что сделал для нее Андрей Белый, – то чувствую себя совершенно ничтожным: какой я литератор!»²³⁵²³⁶

В русской культуре существовали два образа Апокалипсиса, и самое глубокое обоснование и характеристику русской апокалиптике в двух ее проявлениях дал еще один член Религи-

²³³ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 111.

²³⁴ Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 415.

²³⁵ И со свойственной ему непосредственностью продолжил: «Но в то же самое время упор в жизнь у меня так велик, что в наше время равными себе считаю только Горького и Гамсуна».

²³⁶ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 343.

озно-философского общества, тогда еще не иерей С. Булгаков: «Душа русского православия, при наличии клерикального спиритуализма, на поверхности, преимущественно в иерархии, в глубине своей всегда была доступна апокалиптическому трепету и предчувствиям <...>

Русский апокалипсис имеет двойкий характер, соответственно двойственности и самих апокалиптических пророчеств, – мрачный и светлый. В первом случае воспринимается их трагическая сторона, причем апокалиптика принимает эсхатологическую окраску, с предвестиями скорого конца мира, иногда не без паники и духовного бегства от современности в эсхатологию. Особенно ярко эта эсхатологическая паника проявилась в русском расколе, который, хотя и отделился официально от Церкви, однако в своем духовном укладе сохранил дух православной церковности, хотя и с неизбежной односторонностью. Появление антихриста в лице императора Петра Великого, прекращение благодатного священства благодаря ереси, наконец, печать зверя, которая налагается на всех безбожным государством, таковы были свидетельства в глазах раскольников о конце мира, и это побуждало самых ревностных бежать в леса и там самосжигаться, огненное крещение предпочитая жизни под властью антихриста. Но наряду с этим возникла легенда о светлом граде Китеже, хотя и опустившемся на дно озера по смотрению Божию, но доступном очам достойным. <...> Наряду с этим народным эсхатологизмом в течение всего XIX века, как и в наши дни, в кругах высшей интеллигенции оживает иная апокалиптика, полная надежд и предчувствий новых, еще неизведанных возможностей в жизни Церкви. <...> Одна общая вера соединяет апокалиптически настроенные круги, – история не только не стоит уже перед раздирающим концом, но еще внутренне не окончена»²³⁷.

Очевидно, что генетически Пришвин с его старообрядческими корнями и эсхатологическим испугом вышел из той традиции, которую его земляк и однокашник по елецкой гимназии связывал с народным эсхатологизмом, с темным его образом. Пережив это чувство в детстве, а затем – в марксизме и тюрьме, Пришвин двинулся в сторону той части интеллигенции, которая в конце цивилизации и истории видела не только гибель старого, но прежде всего зарождение нового, преобразование мира. Иначе говоря, грядущий апокалипсис должен был принести не столько разрушение, сколько созидание. Эсхатология осмыслялась как бы со знаком плюс, а конец всемирной истории не означал для символистов катастрофу, экологическую, военную, национальную или какую бы то ни было еще (ни одна из ужасных химер двадцатого века перед ними не возникла) – это был апокалиптицизм предчувствия, где важнейшую роль играли интуиция, озарение и пророчество, и искусству отводилась роль новой жизнеутверждающей религии.

Именно это очень важное соображение позволяло А. Белому отмежеваться от декадентов (в его понимании) и сказать: «Нас называли «символистами второй волны»; для меня это название значило: «символисты», но не «декаденты». <...> Декаденты – те, кто себя ощущал над провалом культуры без возможности перепрыга»²³⁸. В этом качестве Белый был не одинок, но как теоретик искусства он наиболее четко сформулировал апокалиптическую религиозную устремленность нового искусства и его беспрецедентные теургические цели.

Для младосимволистов, последователей Вл. Соловьева «перепрыг» был возможен, ибо художник в их восприятии – творец мира, демиург, союзник Бога на земле, а искусство – религиозно, способно изменить мир и подчинить его себе и создать нового человека, и это светлое, мистическое отношение к миру, которое С. Булгаков позже назвал «положительным чувством истории», неожиданно оказалось для Пришвина чрезвычайно близким именно по контрасту с ужасом конца; положительного, утвердительного смысла и искал он всю свою жизнь.

Молодой петербургский писатель, путешественник и журналист, безусловно, внимательно читал одну из самых важных, ключевых книг начала века – сборник «Вехи», и мимо

²³⁷ Булгаков С. Н. Православие. М., 1991. С. 373–374.

²³⁸ Белый А. Начало века. М., 1990. С. 535.

него не могли пройти слова С. Булгакова: «Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о Граде Божием (в пришвинской терминологии Китеже. – А. В.), о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества – если не от греха, то от страданий – составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции. <...> Сознательно или бессознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении»²³⁹.

Сходные мысли были и у Н. Бердяева. Вот как много лет спустя, уже в эмиграции, он более трезво и адекватно описывал эту ситуацию: «Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально обозначали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся войны и огромной революции. Ничего устойчивого не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но весь мир переходил в жидкое состояние. Но апокалиптическое настроение, ожидание грядущих катастроф у русских всегда связано и с великой надеждой. Русский народ, подобно народу еврейскому, – народ мессианский. В лучшей части он ищет Царства Божьего, ищет правды и упоает, что не только день Божьего суда, но и день торжествующей Божьей правды наступит после катастроф, испытаний и страданий. Это есть своеобразный русский хилиазм»²⁴⁰. Подобное ощущение затрагивало и российскую интеллигенцию, и народные массы. Так, известный исследователь сектантства А. Пругавин писал в 10-х годах XX века: «И сейчас, как в былые далекие времена, вновь оживают эсхатологические чаяния, т. е. ожидания близкого конца мира, скорого второго пришествия Христа. И, пожалуйста, не думайте, что эти верования захватывают только какие-нибудь темные низы крестьянской массы. Совсем нет! И среди привилегированного общества, среди столичной интеллигенции вы можете встретить немало людей, взволнованных и встревоженных идеей скорого второго пришествия»²⁴¹.

Страстное, пылкое обращение интеллигенции к народу, ее болезненное самоощущение в отрыве от него вызвало поворот, пристальное и даже патологическое внимание к наиболее темным, иррациональным сторонам жизни, к сектантству, к расколу в его самых радикальных толках и согласиях, а следовательно, и к раскольничьей апокалиптике. И вот факты: с одной стороны, небывалый интерес интеллигенции к «низам»: уход Добролюбова²⁴²; с другой – приход Ключева, появление повести А. Белого «Серебряный голубь», свидетельствующей о том, как переосмыслился духовный опыт так называемых «темных людей». Все это вполне укладывалось в сознании русского человека, подчиняя себе даже людей образованных.

Именно апокалиптичность сознания (и светлая, и темная) стала той самой обетованной почвой, где состоялась долгожданная и чаемая встреча интеллигенции и народа, схлестнулись два потока и преобразовались в один, но встреча оказалась губительна, ибо в действительности почва была заражена, и на мятущиеся, замороженные стихией души Апокалипсис воздействовал разрушающе.

²³⁹ Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество: Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции // Вехи. 1909. С. 29, 42.

²⁴⁰ Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 164–165.

²⁴¹ Пругавин А. Бунт против природы: О хлыстах и хлыстовщине. М., 1917. Вып.1. С. 115.

²⁴² Александр Михайлович Добролюбов (1876 – год смерти неизвестен) – один из представителей раннего символизма. В 1898 году, после глубокого кризиса, отказался от литературного творчества и «ушел в народ». Много лет Добролюбов странствовал по Руси, жил в разных сектах, пока не основал свою собственную. Его личность интересовала таких писателей, как Л. Толстой, В. Брусов, А. Блок, З. Гиппиус, Д. Мережковский.

Пришвин не мог быть в стороне от всех этих споров. Они волновали его душу, в мудреных разговорах с Мережковским о Третьем Завете он торопился наверстать упущенное, он знал об этих вещах не понаслышке – то был его глубоко выстрадавший личный опыт.

«Это чувство конца (эсхатология) в одинаковой степени развито у простого народа и у нашей интеллигенции, и оно именно дает теперь силу большевикам, а не как просто марксистское рассуждение.

Все тончайшие изгибы этого чувства мне хорошо известны, и оно держалось во мне несколько лет, имея наиболее сильное напряжение в тюрьме и быстро ослабевая в бытность мою в Германии, потому что там мой марксизм я увидел в форме того мешанства, которое так ненавидел Ленин. Но вполне я освободился от большевизма, лишь когда заговорили с другого конца, и был пожаром переброшен на другой полюс и вплотную подошел к декадентству. (...)

Существуют целые тома писаний об этом предмете таких выдающихся людей, как Струве или Бердяев, но именно потому, что они люди исключительно образованные, вожди – и притом умственно загруженные люди, нельзя по ним судить о всем. Я же был настоящим прозелитом, рядовой овцой в этом стаде, и мои замечания должны объяснять психически широкие массы народа»²⁴³.

Через апокалиптический запал Пришвин попал в тюрьму и едва не сошел с ума, чуть-чуть руки на себя не наложил и, исцеленный природой и Ефросиньей Павловной, трезво смотрел на вещи, будучи в этом совершенно одиноким. Русскую интеллигенцию тянуло к сектантам (там была свежая кровь), сектанты, много десятилетий угнетаемые правительством и господствующей Церковью, видели в интеллигенции защиту, – это был своеобразный социальный заказ времени («Вообще все бы с удовольствием повернулись, а потому заискивали у хлыстов»²⁴⁴), и Пришвин вызвался быть проводником в этот вертящийся мир, он был словно для этого рожден и, таким образом, сделал своеобразную карьеру в тогдашнем литературном мире и в журналистике, печатая статьи о сектантах в «Русских ведомостях», а позднее составив из этих материалов третью часть своей четвертой книги «Заворощка».

Пришвину все это было интересно и понятно; он имел определенный опыт общения с людьми этого склада и пользовался у них авторитетом, что было не так просто, и именно благодаря своей компетентности в сектантских делах писателю удалось идеально точно занять нишу в только кажущейся хаотичной литературной мозаике тех лет – на самом деле строгой и упорядоченной системе и даже иерархии, где у каждого, от мэтра В. Брюсова до олонецкого мужика Н. Клюева, были свое место и своя роль, а те, кто путался в словах, уходили и сами основывали секты.

Прийти, как Клюев, и читать нотации Блоку или уйти, как Добролюбов, и назидательно замолчать («Помолчим, братие!») Пришвин не мог или не хотел, но вот стать проводником, сталкером, перекинуть мостик от народа к интеллигенции и, как справедливо написал А. Эткинд, уделивший, правда, слишком много внимания сектантской теме в творчестве Пришвина, легко ходить туда и обратно – это у него получалось великолепно. Он возил Вяч. Иванова к хлыстовской богородице, а потом молодая красивая женщина со строгими чертами лица, с головы до ног укутанная в черную шаль, сидела на лекции поэта-эллиниста. Он звал с собою к хлыстам Блока, был своим человеком в секте «Начало века» и «не раз приводил на край ее чана людей из нашей творческой интеллигенции».

Дома у него собирались хлысты, и он готовил их к выступлению в Религиозно-философском собрании; ввел в него И. С. Проханова, сектанта-молоканина, теолога, издававшего в Петербурге журнал «Духовный христианин» (это как раз он, к неудовольствию Мережковского, собирался привнести «логику» в сектантский хаос); после Закона о свободе совести и вероис-

²⁴³ Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 74.

²⁴⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 74.

поведания подпольная, неортодоксальная Русь вылезла наружу, и до каких только фантастических вещей не договаривались ее вожди и рядовые адепты, и как часто вспоминались эти люди и эти споры потом, когда вспыхнул русский бунт, но тогда все казалось живым, новым, внушало надежду, радость, опьянение.

Пришвину в этом «пассионарном» мире, куда стремились проникнуть и «повертеться» русские интеллектуалы, доверяли, в нем было некое обаяние – он нашел себя – хотя больше в петербургских сектах, чем среди заволжских староверов.

«Во время одной из ночевок в лесу, у костра, заходит разговор на отвлеченные мистическо-философские темы, – вспоминал поход к Светлояру в обществе старика-раскольника К. Давыдов. – Наш начетчик, человек вообще малоразговорчивый, враждебно отмалчивался»²⁴⁵. Изумительно верная деталь отношения народа к интеллигенции, вряд ли признаваемая участниками Религиозно-философского общества. А вот петербургские сектанты – это другое. Им внимание писателей льстило, хотя, как заметил Пришвин в очерке «Круглый корабль», Легкобытов «не затем ходит в наше Общество, чтобы учиться, а хочет привлечь на свою сторону интеллигенцию».

И все же наивно было бы полагать, что роль спеца (спецчеловека) по сектам Пришвина вполне удовлетворила.

Да, он хорошо представлял себе мировоззрение вождей декадентов, о которых тот же Легкобытов отзывался так: «В них есть что-то большое, в них есть частица того, что и у меня, но только они с небом играют...»²⁴⁶; многих из этих «игроков» писатель искренне уважал, даже любил («Будучи целый год вдали от столицы, я спрашивал часто себя: что делает в это время Мережковский? На него у меня была в душе надежда, потому что его я люблю как человека и уважаю как большого писателя и даже учителя»²⁴⁷), считал эту страницу в истории русской культуры чрезвычайно важной и впоследствии пытался написать роман «Начало века», где Мережковский должен был быть выведен в образе Светлого иностранца, несущего своей незнакомой родине свет, – замысел, которому не суждено было воплотиться, – но все же с сектантством Пришвин себя не отождествлял, с самого начала заняв позицию наблюдателя, а вовсе не адепта или неофита. Он мог водить дружбу с сектантским вождем Легкобытовым, что замещало ему отсутствие дружбы с Розановым («Легкобытов есть верующий Розанов»²⁴⁸), защищать охтенскую богородицу Дарью Васильевну Смирнову, но, казалось, ничто не могло поколебать его психически здоровую натуру, и, ведя эту захватывающую игру, Пришвин, похоже, ничем не рисковал.

Ему не изменяла трезвость и зоркость мышления, он не попадал ни под чье влияние до самозабвения, как А. Белый – в плен к Штейнеру и теософам, не сталкивался с проблемой алкоголизма, как Блок, не был гомосексуалистом, как Клюев или Кузмин («все эти импотенты, педерасты, онанисты, мне враждебные люди, хотя были бы и гениальными: я не признаю. Моя жена с огромными бедрами, и мне было с ней отлично»^{249,250}).

Он был психически здоровым человеком, и это свойство также выгодно отличало его от болезненной и изнеженной декадентской среды.

²⁴⁵ Воспоминания о Пришвине. С. 42.

²⁴⁶ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 792.

²⁴⁷ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 204.

²⁴⁸ Пришвин о Розанове. С. 164.

²⁴⁹ Позднее, снабдив свою запись знаком NB, Пришвин отметил в Дневнике: «Жизнь писателей того времени в отношении размножения была до крайности болезненная: 1) Белый – импотент 2) Блок – попытка духовного брака 3) Гиппиус – вагизм 4) Философов – педераст 5) Ремизовы – как семьянины – жертвы 6) Розанов – философ пола 7) Карташев – монах 8) Кузмин – педераст 9) Сологуб... Такой очаг творчества» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 7.09.1928). Ср. также: «Я охотно допускаю мысль, что у поющих птиц есть даже какой-нибудь дефект в половых органах, как у многих и многих поэтов» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 13.09.1928).

²⁵⁰ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 6.5.1926.

«У вас, – сказал Мережковский, – биографически: вы не проходили декадентства.

– А что это значит?

– Я – бог. Нужно пережить безумие. А вы здоровый...»²⁵¹ Здоровый-то здоровый, но все же странности в его характере были, фантастическое мешалось в голове с реальным, и в какой-то мере и он допускал для себя возможность примкнуть к сектантам:

– Бросьтесь в чан, и мы воскресим вас, – говорил Легкобытов.

– Вы близкий, – делала ему комплимент охтенская богородица.

В ответ на этот призыв, заглядывая в себя, он ощущал «волну большой любви, похожей на счастье», в которой тонут все его мучения, злость и пр. Это состояние очень близко к тому, чтобы забыть свое «я» и уйти в секту, волна для него, а следовательно, и секта – возможность выхода из одиночества, от которого Пришвин многие годы страдал, и то, что он называет волной, стихией, плазмой, было его путеводной звездой:

«Та же самая волна ведет и в тюрьму, и к ней, и в литературу, и в степь: расширение души после греха»²⁵².

Что было у него общего с хлыстами? Собственная судьба – вот что!

Трагическое разделение плоти и духа было ему хорошо знакомо, он через это прошел и в пору работы над автобиографическим романом написал: «Если бы не было Павловны, то Курымушка превратился бы или в хлыста, или в трагическое лицо "с неправильным умом"»²⁵³. Но тогда смотрел на эти вещи иначе: «Православие – покой и смирение, хлыстовство – движение, внутреннее строительство и гордость. Хлыстовство невидимо стоит за спиной православия, это его страшный двойник, это подземная река, уводящая лоно спокойных вод православия в темное будущее».

Поскольку мечтой о будущем он был болен всю жизнь, что, по-видимому, и оказалось через несколько лет главной точкой соприкосновения его с большевиками (с «идеальными» большевиками, как поправил бы сам Михаил Михайлович), то определенный риск оказаться в этой секте не просто любопытствующим, но ее верным адептом, для писателя существовал.

«Жизнь наша – чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного, и знаем, у кого какая рубашка: нынче она у меня, завтра у соседа. Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа», – говорил Павел Михайлович Легкобытов.

И все же Пришвин в 1910 году никуда не бросился и даже не колебался, он хладнокровно взял из этого чана то, что было ему нужно (хотя бы вот это: «Как это мудро у хлыстов: человек работает – Бог спит, человек спит – Бог работает. Да конечно же, Бог не умер, а спит»²⁵⁴), и отошел в сторону.

И для него сектантский мир был потрясением, как и для всей интеллигенции начала века, но, слава богу, он не встретился с этими людьми раньше, в пору брожения молодых соков и половой неудовлетворенности, когда его могли бы подвигнуть и на самое радикальное решение мучившей его проблемы, а был теперь вполне зрелым человеком, и игра с хлыстами и в хлыстов была для него, если так можно выразиться, управляемой ядерной реакцией.

Минуты колебания были ведомы и этому человеку.

– Пожалуй, лет через пять и я к вам перейду, – сказал однажды Пришвин Легкобытову.

«– Через пять! – удивился он, и я понял, что меня они уже считают своим»²⁵⁵.

²⁵¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 40.

²⁵² Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 52–53.

²⁵³ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 353.

²⁵⁴ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 12.01.1927.

²⁵⁵ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 3.03.1909.

Однако история со «школой народных вождей» не повторилась. «В том-то и ужас хлыстовства, что у него разделение человеческого существа не скорбь, как у нас, а вполне сознательная мера. И никаких законов общественных, государственных и всяких других для нас, природных людей, из их учения вывести нельзя. Нашу жизнь они живут по нашим законам, свою духовную по своим особым законам духа». Но в пору работы над «Кашеевой цепью» писатель оставил в Дневнике такие неслучайные слова: «Я сам по природе своей близок к сектантству, но избежал его (убежал)»²⁵⁶.

Тогда же, в Дневниках середины двадцатых годов, встретится и еще несколько важных записей, в которых Пришвин объясняет суть «декадентско-сектантского» периода в своем творчестве: «Идеи, мне кажется, как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле (...) Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела.

Вот теперь я начинаю понимать, что так разделяло меня с романтиками, почему Блок, Пяст, Гиппиус, Карташов и другие казались мне людьми какой-то высшей породы, высшего постижения, высшей учености, чем я, и в то же время одной половинкой мне стыдно было за себя и другой половинкой за них: я и уважал их, и тяготился ими, и даже потихоньку смеялся над теми, кто из них был выше других.

Вот почему так. Они были литературно, бумажно романтиками: они, получив какой-нибудь слабый жизненный толчок, целиком ушли в словотворчество, прислонясь к тому светилу прошлого, от которого у нас теперь осталась только идея или долетающая до нас форма давно умершего светила. А я, переживая все то же не на словах, а в самой жизни – да, то же самое в жизни (...) не смея это извлекать из себя, потому что живому жалко с жизнью расстаться, я смотрел как на корректив декадентских богоискателей на жизнь простейших людей, сектантов и проверял их верования, влюбляясь в начале, в конце находил, что эти люди, тоже не овладев собственной жизнью, хватались за ложное солнце...»²⁵⁷

Путь этот был не короток и не прям. Давыдов приводит немало свидетельств влечения своего товарища по охоте и путешествиям к сказочному, фантастическому (так, он мечтал поехать в экспедицию в некие Тарбагатайские горы, чтобы искать там следы прекрасной царевны, похищенной у Ивана-царевича, и даже показывал биологу два перышка, которые бросала возлюбленному догадливая царевна и которые Пришвин якобы где-то нашел).

Быть может, именно этим объясняется его обращение к сказочным образам практически во всех поздних произведениях («Осударевой дороге», «Корабельной чаше», «Кладовой солнца»), но это скорее проблема творческого метода, а не индивидуальной психологии.

Для того чтобы быть декадентом, надо было полностью декадентству отдаться, для того чтобы сектантом – броситься в чан, никакая половинчатость здесь в расчет не шла и не принималась, броситься наполовину нельзя – а Пришвин осторожничал, потому и уцелел и сквозь все прошел. Проскочил – как отзывались в 1898 году елецкие соседи о студенте-неудачнике, вышедшем из тюрьмы. Точно так же «проскочил» он через все перипетии века, через декадентство и сектантство.

Но одну чрезвычайно важную идею от символистов и, говоря шире, от людей «начала века» Пришвин ухватил и воплотил гениально. Это была идея жизнетворчества, отношения к человеческой жизни как к произведению искусства – именно ее писатель и выстроил, пере-

²⁵⁶ Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 8.02.1927.

²⁵⁷ Пришвин о Розанове. С. 178.

осмыслил, преобразил на свой лад («Я из себя живу, они – от судьбы»²⁵⁸). Он искал свой путь, хотел жить не чужим, но своим умом, и главный итог его исканий начала века был выражен им в самый первый год вступления в партию декадентов (хотя, используя термин чуть более поздних времен, он был скорее попутчиком, нежели действительным партийцем) – так что можно было дальнейший огород и не городить и никаких салонов не посещать, разве что из любопытства. Прирожденный охотник имел очень быстрый и цепкий ум и так же лихо, как с Олонецкой губернией на диво тамошним этнографам или с ветлужскими сектантами, к удивлению религиоведов, очень скоро разобрался и со своими духовными поисками и сомнениями едва ли афористическим образом: «По-мужицки верить нельзя... По Мережковскому тоже нельзя... По своему?.. Но я не религиозный человек. Мне хочется самому жить, творить не Бога, а свою собственную, нескладную жизнь... Это моя первая святая обязанность»²⁵⁹.

И через несколько лет, в 1914 году, закрывая свое декадентство и объявляя его изжитым: «Моя натура, как я постиг это: не отрицать, а утверждать; чтобы утверждать без отрицания, нужно удалиться от людей установившихся, жизнь которых есть постоянное отрицание и утверждение: вот почему я с природой и с первобытными людьми»²⁶⁰.

²⁵⁸ Архив В. Д. Пришвиной. Ранний Дневник М. М. Пришвина.

²⁵⁹ *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 35–36.

²⁶⁰ *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 73.

Глава X. Слепая Голгофа

Первобытные люди – это скорее всего о «Черном арабе» – пожалуй, наиболее удачной и совершенной в художественном отношении пришвинской дореволюционной книге. Писатель отправился на сей раз в киргизские степи, откуда намеревался привезти большой трехчастный роман-очерк вроде «Колобка», но вместо растянутого аморфного повествования создал энергичный, яркий и сжатый рассказ о степных жителях, который привел в восторг М. Горького – еще одного пришвинского товарища по цеху, с кем они вместе будут творить литературу советскую и говорить вслух многочисленные взаимные комплименты, в глубине души оставаясь друг о друге не слишком высокого мнения.

Буревестник революции, как ни сближали двух писателей ницшеанский мотив и сумбурные религиозные поиски, в том числе – интерес к сектантам и сектанткам (см. третью часть «Клима Самгина»), ни тогда, ни позднее не был пришвинским богом или учителем.

«Что меня в свое время не бросило в искусство декадентов? Что-то близкое к Максиму Горькому? А что не увело к Горькому? Что-то близкое во мне к декадентам...»²⁶¹

В той чудной пришвинской вещице более всего сказалось влияние Ремизова, посоветовавшего Пришвину написать о степном оборотне, и главным героем рассказа оказался не бродячий интеллигент, а таинственный черный араб, едущий из Мекки по степи куда глаза глядят, в то время как слух о его передвижении разносится на многие километры вокруг. Именно в «Черном арабе» родилось знаменитое:

«– Хабар бар? – Бар!» («Новости есть? – Есть!»), которое служило условным сигналом в его общении с Ремизовым, а впоследствии спасло Пришвина от верной гибели во время мамонтовского нашествия, чья армия состояла из русских казаков и киргизов.

Любопытно, что сам Пришвин новым произведением удовлетворен не был и писал А. М. Ремизову 12 апреля 1910 года: «Узнав о согласии «Русс<кой> Мысли» его напечатать, я принялся несмотря ни на что писать, работал три недели без отдыха и вот теперь вдруг все перестало нравиться и не хочу печатать»²⁶².

А редактор литературного отдела журнала В. Я. Брюсов докладывал 16 сентября 1910 года своему начальнику, кадету П. Б. Струве: «В Москве был А. Ремизов (...) Взял для передачи автору корректуры очерков Пришвина («Белый араб»), которого лично знает и очень рекомендует»²⁶³ и в другом месте назвал творения Пришвина «полубеллетристической» (письмо Струве от 8.10.1910).

Тем не менее с подзаголовком «Степные эскизы» «Черно-белый араб-араб» был напечатан, и позднее Пришвин так охарактеризовал эту работу: «Это чисто поэтическая вещь, она может служить самым ярким примером превращения очерка в поэму путем как бы самовольного напора поэтического материала».

Рассказчик все больше и больше склоняется к мистификации, почти клоунаде, начатой в «Колобке», где поморы принимают его за важное лицо из Петербурга, ожидая, что он поделит им море (и эта идея приводит писателя в детский восторг), продолженной в «Светлом озере» («ищу правильную веру») и доведенной в киргизском цикле до совершенства, изящной непретенциозной игры, умение играть в которую так пригодило ему в советское время.

В 1922 году, в предисловии к «Черному арабу» Пришвин так охарактеризовал свой «этнографический» метод художественного изображения действительности: «Сущность его

²⁶¹ Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 16.

²⁶² Письма М. М. Пришвина А. М. Ремизову. Вступит. ст., подгот. текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 175.

²⁶³ Литературный архив. Т. 5. М.-Л., 1960. С. 283–284.

состоит в той вере, заложенной в меня, что вещь существует и оправдана в своем существовании, а если выходит так, что вещь становится моим «представлением», то это мой грех, и она в этом не виновата. Поэтому вещь нужно описать точно (этнографически) и тут же описать себя в момент интимнейшего соприкосновения с вещью (свое представление)»²⁶⁴.

То есть если некая реалья плохо описана, она в этом не виновата – виноват автор (ср. также «философию наивного реализма»: «Лес значительнее, чем мое описание леса; предмет не исчерпывается моим к нему отношением»²⁶⁵). Жизнь всегда права, писатель может ошибаться, неверно ее отобразить, заслонить своим представлением, и отсюда так важна точность и в описании природы и состоянии души художника, поэтому важно раствориться до самозабвения в том, о чем пишешь.

Замечательно, что эта мысль, которую Пришвин впоследствии неоднократно варьировал, была верней всего подсказана ему М. О. Гершензоном.

Именно этот известный литератор и издатель в письме к А. М. Ремизову в марте 1911 года, отчасти развивая идеи Иванова-Разумника, а отчасти с ними полемизируя, дал наиболее исчерпывающую характеристику и пришвинскому творчеству, и его окружению, а самое главное – его перспективам: «Михаилу Михайловичу скажите, что я с наслаждением читаю его книги, что больше всего мне нравится «В краю непуганых птиц», а «Черный араб», как ни хорош, кажется мне слабее, как и «Колобок», который я, впрочем, еще только читаю (...) Мне кажется, Михаил Михайлович на опасном пути: он хочет осмыслить Панову мудрость, может быть испорченный Петербургом, Мережковским, Шестовым и прочими» (...) Очень понятно, что как человек, он хочет понять то, что, войдя через глаза, дымными волнами клубится в его душе. Но понять умом – не ценно, поняв, он обедняет и сам, и для других – убить себя как личность и воскреснуть как художник, а именно как я сказал – не стараться понять, а стараться еще лучше видеть: тогда душевный туман – не родит из себя жалкую человеческую философию, а просто весь поднимется, пронизанный солнцем и станет в душе – солнце и солнце, радостный безмысленный свет»²⁶⁶.

В этих программных строчках заложена и еще одна идея, которая так часто повторялась в пришвинских Дневниках или, например, в известной статье по поводу поэмы Блока «Двенадцать» (об этом см. главу «Пришвин в восемнадцатом году») – идея враждебной органическому творчеству засмысленности.

Добиться совершенства Пришвину удавалось не всегда, бывало, что описываемый мир растворялся в своем создателе. Это относится ко многим его вещам, в том числе и к «Светлому озеру», хотя, говоря об этой книге, Пришвин восхищался своим умением разобраться в сектоведении. Подобного рода «грехов», когда вещь становилась представлением, и в раннем, и в более позднем творчестве было предостаточно, так что охарактеризовать путь Пришвина в искусстве, путь к слову как постоянное восхождение невозможно, да и он сам так не считал. От многих произведений, написанных в десятые годы («У горелого пня», «Иван-Осляничек», «Саморок», «Семибратский курган»), писатель впоследствии отказался («Вспомнить стыдно, какой вздор написал под Ремизова»; «"Иван Осляничек" – получилась не вещь, а сосулька»; «"Иван Осляничек", детали бесподобны, а в целом вещь никуда не годится»²⁶⁷).

Критика также полагала, что он находился под сильным влиянием Ремизова, что признавали и оба литератора. «По русским просторам много живет моих сыновей. Есть среди них

²⁶⁴ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 262.

²⁶⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 95.

²⁶⁶ Русская литература. 1995. № 3. С. 192.

²⁶⁷ Русская литература. 1995. № 3. С. 192.

молодые (Леонов), есть моих лет (Замятин). Есть и постарше (Пришвин)», – говорил Ремизов²⁶⁸.

«Всех, кто подражал ему извне, постигла потом печальная участь.

Пришлось и мне испытать на себе некоторое время эту заразу ремизовской кори. Но сам Ремизов ненавидел эти подражания ему, и никто другой, как он сам и освободил меня от себя»²⁶⁹, – писал Пришвин.

Нелишне привести еще одно мнение Р. В. Иванова-Разумника:

«... Часто считают стиль А. Ремизова и М. Пришвина тождественным.

Это грубая ошибка... Творчество А. Ремизова представляется мне с внешней стороны старомосковским: ...кремль ... яркая причудливость и гениальность храма Василия Блаженного, хитрые и чудесно сделанные завитушки орнаментов... Творчество М. Пришвина представляется мне староногородским: кремль... но без орнаментальных хитрых завитков, строя св. София»²⁷⁰.

Сам писатель так оценивал свой литературный путь: «Некоторую маленькую известность, которую получил я в литературе, я получил совсем не за то, что сделал. Трудов моих, собственно, нет никаких, а есть некоторый психологический литературный опыт, и мне кажется, что никто в литературе этого не сделал, кроме меня, а именно: писать, как живописцы, только виденное – во-первых, во-вторых, самое главное – держать свою мысль всегда под контролем виденного (интуиция). Я говорю «никто» сознательно, бессознательно талантливые люди делают так все»²⁷¹.

Это суждение ценно не только своей самокритичностью, но тем, что писатель понимал или догадывался, что главное им еще не сделано, не написано – он весь впереди, он только накопил огромный опыт и готовится его воплотить, благодарный и безжалостный воспитанник художников начала века, он оторвется от них, и путь его будет совершенно отличен от пути людей, которые его окружали и обучали литературному мастерству. Этот разрыв произошел не скоро и непросто, Пришвин по-прежнему много вращался в литературных кругах, участвовал в собраниях Религиозно-философского общества и, в частности, в том заседании, где шла речь об исключении Розанова вследствие его скандальной позиции по делу Бейлиса (еврея, обвиненного в ритуальном убийстве подростка Андрея Юшинского в 1911 году), бывал на башне у Вяч. Иванова и в салоне Сологуба и продолжал пристально фиксировать все, что происходит вокруг. К этому же времени относится и замысел ненаписанного романа «Начало века», замысел чрезвычайно любопытный во многих отношениях – и прежде всего тем, что Пришвин намеревался провести параллель между одноименной сектой и Религиозно-философским обществом и соответственно – между вождями секты Щетининым и Легкобытовым, с одной стороны, и вождями общества, Розановым и Мережковским – с другой.

Соль этого сравнения крылась в двух обстоятельствах. Во-первых, подобно тому как долгое время Легкобытов находился под сильным влиянием Щетинина и несмотря на все человеческие недостатки своего учителя и его отвратительный нрав невероятно его любил, так и Мережковский очень любил Розанова при том, что они были людьми противоположного склада, и, более того, Розанов то и дело Мережковского клевал²⁷². А во-вторых, в 1909

²⁶⁸ Кодрянская Н. Указ. соч. С. 189.

²⁶⁹ Воспоминания о Пришвине. С. 67.

²⁷⁰ Иванов-Разумник Р. В. Заветы. 1912. № 8. С. 50.

²⁷¹ Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 157.

²⁷² «Перипетии отношений моих к М. – целая «история», притом совершенно мне непонятная. Почему-то (совершенно непонятно, почему) он меня постоянно любил, и когда я делал «невозможнейшие» свинства против него в печати, до последней степени оскорбляющие (были причины), которые всякого бы измучили, озлобили, восстановили, которых я никому бы не простил от себя, он продолжал удивительным образом меня любить» (Розанов В. В. Указ. соч. С. 253). См. также у Пришвина: «Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 28).

году в секте произошел переворот, и власть от Щетинина, о котором Пришвин писал: «Христом-царем этой секты в то время был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. И все, кто были в чану секты, называли себя его рабами и хорошо знали, что их царь и христос – провокатор, мошенник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный он по телефону вызывал к себе их жен для удовлетворения своей похоти» – иначе говоря – Козел (Розанову повезло, что этот роман создан не был и «Кашеева цепь» – цветочки по сравнению с тем, что могло бы быть написано) – итак, власть перешла к Легкобытову, человеку куда более идеалистическому и, если так про вождя секты можно выразиться, «честному», хотя не менее отвратному.

Коль скоро зашла об этом перевороте речь, надо сказать несколько слов и о его причинах. Сектанты терпели мерзости Щетинина (они подробно описаны на страницах книги Бонч-Бруевича) очень долго, и роль Легкобытова в этом угнетении была отмечена тем, что именно своей ласковостью и вкрадчивостью этот человек гасил давно зревшие очаги гнева. Как знать, если бы не Легкобытов, все произошло бы гораздо раньше (а возмутились бедные люди после того, как Щетинин, уясняя для себя меру их преданности, повелел собрать всех малых детей и раздать по сиротским приютам, причем так, чтобы родители не знали, куда попали дети), но, вовлекая в свою секту новых братьев и сестер еще при Щетинине, правой рукой которого он долгие годы был, Павел Михайлович говорил: «Я раб и, если хочешь помочь мне, то придется быть рабом и страдать. Сколько – не знаю. Я уже 12 лет служу своему господину. Всякий желающий со мной итти лишается всего своего»²⁷³.

Пришвин так описал Легкобытова (в образе сатира) и Щетинина (в образе пьяницы) в очерке «Круглый корабль»: «Увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я попал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие члены общины с большими кроткими блестящими глазами, мужчины и женщины, многие с просветленными лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира, посещающий религиозно-философские собрания.

– Я раб того человека, – сказал он, указывая на пьяницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на свете нет человека, но я отдался ему в рабство и вот теперь узнал бога настоящего, а не звук. (...)

– Я убедился, что ты более чем я, – сказал пророк, – и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами.

– Нет, мы должны знать вперед, ради чего мы умрем, а то как же поверить, что воскреснем, – сказал я.

– Воскреснете! – хихикнул сатир. – Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану вываривались, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мелочь, всякое желание знаем друг у друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно только в самом начале.

Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми.

Пьяница, – узнал я подробности, – не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен, и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который в нем живет. Так жили эти люди. Я не упускал их из виду более двух лет, и на моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, – и выбросили чучело, прогнали пьяницу.

²⁷³ Бонч-Бруевич В. Д. С. 105.

Уступая просьбам пророка-сатира, я знакомил его с вождями религиозно-философского движения. Все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим. Но никто из них не пожелал броситься в чан.

– Шалуны! – сказал сатир и куда-то исчез».

Изгнание Розанова Мережковским в 1914 году Пришвин собирался уподобить восстанию сектантов, «счастливым наблюдателем» которого он был, и читатель может судить, насколько плодотворен был такой замысел и насколько основателен.

Первое, что сделал Легкобытов после своей революции – взял шесть паспортов щетининских рабов, три мужских и три женских, и по своему усмотрению сочетал три пары («Мы с нетерпением ожидали, кому кто достанется», – вспоминал один из «брачующихся») и организовал пир на весь мир, где в качестве гостей присутствовало много разного декадентского народу и... Ефросинья Павловна, которую выдали первый раз замуж примерно таким же образом. Самого Пришвина не было – должно быть, странствовал.

Но вернемся к декадентам. Идея сравнения и уподобления Розанова и Мережковского с известными ему лично людьми была для Пришвина одной из любимейших. Н. П. Дворцова, размышляя о положении писателя между этими полюсами начала века (Мережковский – полюс идеи, культуры, Европы, интеллигенции, революции, богоискательства, Христа; Розанов – полюс жизни, природы, России, народа, богоборчества и христоворчества), приводит замечательную цитату из раннего Дневника, где Пришвин уподобляет двух своих учителей двум своим возлюбленным – Ефросинье Павловне и Варваре Петровне.

«Я слишком мало отдаю должного Фросе. Между ними двумя моя эта двенадцатилетняя жизнь. Одно без другого непонятно, и одно другого стоит. И вот отчего тянет меня к Розанову, благословляющему живую собой и в Боге ошутимую жизнь. И возмущение Мережковскими и тяга к ним не есть ли отображение любви к этой женщине. От одной я получаю жизнь и смиряюсь, другая отрицает меня живого... Я жил, получая кровь от матери-земли, и тут какая-то большая радость и любовь была и правда, о которой ей нельзя было сказать: для нее это было падение... Падение несомненное и в то же время спасение, как это может быть?»²⁷⁴

Роман «Начало века» написан не был, но наброски к нему рассыпаны по Дневнику, который со временем занимал все более значительное место в творчестве Пришвина, записи становились систематическими, глубокими, в них больше обобщений, выводов, рассуждений; и, быть может, именно в эти годы к Пришвину пришло понимание того, что эти тетрадки и есть его главная, сокровенная книга, которая однажды поразит читающий русский мир и послужит его оправданием перед потомками.

Вот еще одно чрезвычайно любопытное наблюдение над кругом знакомых литераторов, большая часть которых так или иначе была связана с декадентством: «Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то ему только присущей атмосферы – обаятельной лжи. (...) Горький, Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб – все это чрезвычайно обаятельные и глубоко «лживые» люди (не в суд или осуждение, а по природе таланта). Так что правда бездарна, а ложь всегда талантлива»²⁷⁵.

И именно потому, что Пришвин невероятно точно обозначил ту линию, по которой происходил водораздел в русской словесности в начале последних времен, и не скрыл свою в тот момент симпатию к одному из двух «лагерей», хотелось бы опять вспомнить Бунина, олицетворявшего совершенно противоположный модернизму и его «обаятельной лжи» полюс. Бунина в ряду названных Пришвиным писателей нет и быть не могло, потому что именно опровержению этой, не только Пришвиным разделяемой точки зрения, но свойству культурной среды и

²⁷⁴ Дворцова Н. П. Указ. соч. С. 84.

²⁷⁵ Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 180.

посвятил себя первый русский нобелевский лауреат в области литературы (даже Чехова уличил в обаятельной лжи – не было на Руси вишневых садов – а ведь какой замечательный образ!).

У Бунина страсть к точности и невозможность ухода от правды в обаятельную ложь в самом зачаточном их виде очень верно схвачена в «Жизни Арсеньева» в образе самобытного поэта и скупщика хлеба Ивана Андреевича Балавина, сыгравшего единичную, но весьма значительную роль в судьбе протагониста.

«Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, малый я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько дай Бог любому туристу, а что я писал? Вспомнить стыдно!

Родился я в глуши степной,
В простой и душевной хате,
Где вместо мебели резной
Качались полати...

– Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь, – ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе, во-вторых, сравнивать полати с какой-то резной мебелью верх глупости и, в-третьих, полати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал, но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности...»

Замечательно, что стихи эти не просто имитация. Они принадлежат реальному поэту-самоучке Е. И. Назарову, о котором Бунин писал рецензию в журнале «Родина» (1888. № 24. 12 июня). Впоследствии Бунин признавался, что Назаров послужил прототипом Кузьмы в «Деревне» – при том, что в «Жизни Арсеньева» тот же человек выведен совершенно иначе.

Дело, видимо, не только в отсутствии культуры, еще резче высказывается Бунин по этому поводу в «Окаянных днях»:

«Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратилась в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего Светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, <был как будто вполне с ними>, и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

– Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже, давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество «лгунов» в моей памяти! Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа».

Но этот же человек написал о себе в своем дневнике: «И я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни – и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, – точнее говоря, начало возвращаться, – в форме той сюжетной «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем»²⁷⁶.

²⁷⁶ Муромцева-Бунина В. Н. Указ. соч. С. 34.

Все это имело к Пришвину непосредственное отношение. В десятые годы он в своей игре уперся в какую-то стенку. Ремизовское ли влияние, собственные словесные эксперименты, истощенность, усталость от сумасбродных людей и их забав, серьезных или шутовских, отчаяние от нахождения в замкнутом кругу сектантской идеологии, следы которой он с равным успехом видел и в народных движениях, и в интеллектуальных гостиных, но именно в десятые годы на этом сказочном, фольклорном, зачарованном и замороженном пути он остановился, точно соскочив с подножки чужого поезда, и сделал шаг навстречу Бунину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.